

Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX вв.

Фрагмент книги

От редактора-составителя. Чем больше времени проходит с момента кончины российского мыслителя, выдающегося геополитика и крупного филолога Вадима Цымбурского (1957–2009), тем в большей мере открываются глубина его идей, точность рекомендаций и проницательность исторических оценок. Гражданская война на Украине обозначила фундаментальную роль лимитрофных межцивилизационных пространств в современном геополитическом противостоянии, которую Цымбурский зафиксировал в полемике с Сэмюэлем Хантингтоном. Цымбурский положил «территории-проливы» в центр своей концепции, что позволило ему предвидеть нынешний кризис и дать ему точное геополитическое описание.

Поэтому важной и приоритетной задачей является полное издание всех политических и филологических работ мыслителя – в первую очередь тех, что остались неопубликованными при его жизни. Или затерянными в малоизвестных ротапринтных сборниках. Из тех сочинений, что остались в рукописи, самое крупное – незавершенная докторская диссертация «Морфология российской геополитики», которую ученый готовил примерно в 1997–2002 годах, после чего работа над этой книгой остановилась отчасти по причине ухудшившегося здоровья автора, отчасти из-за того, что объемы предполагаемой работы выходили за рамки диссертационного исследования. Группа в составе Б.В. Межуева, Г.Б. Кремнева и Н.М. Йовы в настоящее время готовит расшифровку и издание того корпуса рукописей, которые остались в архиве мыслителя.

Самая большая из рукописных глав диссертации, которая публикуется в этом номере «Тетрадей», имеет название «Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура». Глава охватывает большой промежуток времени – от Крымской войны до русско-турецкой 1877–1878 годов, когда русская геополитическая мысль еще лелеяла возможность возвращения России на Балканы в качестве лидера славянского освобождения. Однако по мере укрепления на востоке Европы сильного германского блока росло сознание того, что это возвращение едва ли будет легким и что, возможно, геополитическую активность России следует развернуть в Центральной Азии. Иногда это время называют «славянской весной», и во многом оно совпадает своими ожиданиями с нашей нынешней эпохой.

Глава посвящена геополитической мысли России в эпоху, когда Империя Романовых была вытеснена из восточных пределов Европы коалицией западных держав во главе с Великобританией и когда взоры отечественных стратегов развернулись в сторону Средней Азии и впоследствии – Дальнего Востока. Аналогичный разворот мы переживаем и сегодня, и поэтому наблюдения Цымбурского над интеллектуальными течениями того времени оказываются крайне актуальными.

Так, еще с начала 1990-х годов Цымбурский испытывал большой интерес к творчеству создателя теории культурно-исторических типов Николая Данилевско-

го. В личных разговорах он отдавал явное преимущество идеям автора «России и Европы» перед взглядами некогда любимого им русского философа Владимира Соловьева. Цымбурский даже говорил, что считает обвинения Вл. Соловьевым Данилевского в скрытом антихристианстве его теории некорректными именно в условиях господства в царской России религиозной цензуры. Получается, что Вл. Соловьев, помимо прочих выдвинутых им против Данилевского обвинений, намекал и на своего рода нелояльность бывшего петрашевца к господствовавшему в России вероисповеданию. Цымбурский развивал свой «цивилизационный подход», отталкиваясь от выводов второго тома «Заката Европы» Шпенглера, но при этом признавал, что данное направление исследований ведет свою родословную от размышлений русского мыслителя.

Тем не менее, как может убедиться читатель публикуемого нами текста, Цымбурский не закрывал глаза на многочисленные концептуальные натяжки и передержки так называемой теории культурно-исторических типов, равно как и на уязвимые места собственно геополитических рекомендаций автора «России и Европы». Обратим внимание лишь на один аспект этой критики, важный для нас сегодня. Цымбурский прозорливо указывал на иллюзорность представления Данилевского, от которого, судя по всему, тот не отказывался до конца жизни, о возможности союза России с державой-гегемоном континентальной Европы, при котором русской Империи был бы обеспечен контроль над южной частью Балто-Черноморья. Аналогичная иллюзия, условно говоря, Тильзитского сговора, была свойственна и геополитикам нашего времени, кто до последнего времени мечтал о прочном альянсе России с освободившейся от атлантического влияния Германией. Да, через восемь лет после смерти Данилевского Россия, словно разделяя его сожаления о крахе Тильзитского сговора с Наполеоном, вступила в военный союз с Францией, однако последняя к этому времени уже являлась не безусловным гегемоном Европы, но страной, проигрывающей битву за европейское лидерство и оттого нуждающейся во внешней поддержке. И что бы ни говорили наши германофилы, у России никогда не было более верного и более надежного союзника в Западной Европе, чем давивая германским сапогом Третья республика.

В процессе объективного и отстраненного анализа воззрений Данилевского, описания эволюции его политического мировоззрения Цымбурский неожиданно наталкивается на идею, которая кажется ему особенно близкой. Речь идет о концепции России как Анти-Европы, представлении, которое позволяет противопоставлять нашу страну не той или иной европейской державе, но Европе в целом. Любопытно, что в то самое время, когда автор «России и Европы» приходит к этой идее, Данилевский, как подчеркивает Цымбурский, выбирает в качестве приоритетного врага славянства Англию, с которой Россия теперь образует особую конфликтную систему. Идею о наличии сверхсистемы «Европа–Россия» сам Цымбурский впервые высказывает в работе 1997 года «Европа – Россия. Третья осень системы цивилизаций», в которой он попытался соотнести выявленные им «циклы похищения» Европы с трансформациями геополитической структуры последней. В качестве культурологического отражения идеи России как Анти-Европы Цымбурский обращается даже к популярной в 1990-х годах концепции Бориса Гройса о России как «бессознательном Западе» с целью проиллюстрировать тот же тезис – что две цивилизации имеют взаимосвязанную культурную и политическую динамику.

Обратим также внимание и на внимательный анализ в публикуемой главе геополитических воззрений Федора Достоевского. Цымбурский обнаруживает в



геополитике Достоевского глубинный эсхатологический подтекст: вся история нашего послепетровского «рывка в Европу», как считает ученый, представлялась автору «Братьев Карамазовых» поспешным и неуместным стремлением разрушить грань между Западом и Россией. Отторгнутые коалицией западных держав от участия в судьбах Европы, русские после поражения в Крымской войне должны были искать для себя геополитическую миссию вне коренного пространства западного мира, ожидая, что в будущем они смогут вновь прийти в надломленную социализмом Европу – но уже не как слуги каких-либо европейских сил, а в качестве подлинных судей.

В изображении Цымбурского Достоевский предстает мыслителем, сумевшим сочетать темы Тютчева и Данилевского – точнее, согласно концепции «Морфологии российской геополитики», представления фазы С (российской гегемонии в Восточной Европе в 1815–1854 годах) и фазы Е (отката от Европы после Крымской войны при сохраняющейся надежде на создание особого пророссийского блока на пространстве Балто-Черноморья). Освобождение славян и завоевание Константинополя мыслятся писателем как своего рода компенсация отказа от все-европейского призвания при сохраняющейся надежде, что в будущем предоставленная сама себе Европа упадет к ногам России.

Цымбурский сам довольно много размышлял над возможностью нового прихода России в европейскую историю в качестве вершителя ее судеб – и вопрос, стоит ли русским возвращаться в нее даже в таком почетном качестве, не находил у творца «Острова России» однозначного ответа. Ответ на этот вопрос он оставил за собой.

Б.В. Межуев

Глава пятая

Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура¹

Логика стратегического цикла во многом определила восприятие русскими не только самой Крымской войны, но и ее итогов: и здесь опять налицо разрыв между фактами и вкладываемым в них значением. Каковы были итоги войны по существу? Россия потеряла кусок земли в Бессарабии, ей, как и Турции, навязывалась нейтрализация Черного моря, где обе стороны сохраняли по нескольку кораблей для береговой службы, зато военным кораблям западных держав в подтверждение Лондонского протокола 1841 г. воспрещался проход через проливы. Вот и весь проигрыш России, которая покрыла себя военной славой в битве со сплоченной Европой, затратившей огромные силы на взятие одной российской крепости.

Смысл этих событий выглядел иначе – едва ли не катастрофически. «После 1856 г. Россия оказывала на европейские дела меньше влияния, чем в любой период после окончания Великой северной войны в 1721 году» [Тэйлор 1958, 120]. Либерал Н.А. Мельгунов, подводя итоги правления Николая I, писал: «У нас теперь нет друзей, нет прочных и естественных союзников: мы предо-

¹ Начало рукописи главы сопровождается добавлением названия ее первого параграфа: «§ 1. Славянство или Туран? (Между Парижским миром и Берлинским конгрессом)». Другие параграфы этой главы не обозначены отдельными заглавиями. Кроме того, при публикации сохранены некоторые особенности правописания и система ссылок, несколько отличающаяся от используемой в «Тетрадах по консерватизму». *Примеч. ред.*

ставлены самим себе, отчуждены ото всех и одиноки» [Мельгунов 1974, 73]. Б.Н. Чичерин расценивал войну как катастрофу, которая «разорвала союз царя с народом, окончательно опозорила царствование, которое без того могло бы гордиться внешними успехами и внешним могуществом» [Чичерин 1906, 153]. В некоторых публикациях середины 1850-х сквозит трактовка Парижского мира как перемирия, за которым продолжится западный натиск, нацеленный на уничтожение России, – но изредка проскальзывают надежды на то, что возобновление войны может стать для Империи отыгрышем [Погодин 1874, 351. Мельгунов 1976, 141–143]. Россия по состоянию на 1855–1856 гг. расценивается как страна, выпавшая из круга великих держав. Мельгунов пишет: «Россия, слава Богу, не Турция, даже не Австрия; ее не сотрешь с карты Европы и Азии; она всегда будет стоять во главе – если не первенствующих, по крайней мере второстепенных держав, а это чрезвычайно много» [Мельгунов 1976, 141–142] (ср. с сегодняшними суждениями о России как «рыночной державе»).

Рядом с мотивами «перемирия» и «нисхождения во второй разряд» в ряде выступлений звучит мотив «оукливания» страны ради «внутренней работы». Цитировать Герцена, Погодина или Мельгунова на сей счет можно без конца. Уходящий в отставку канцлер К.В. Нессельроде пишет о том, что «внутренняя работа является первой нуждой страны, и всякая внешняя деятельность, которая могла бы тому препятствовать, должна быть тщательно устранена. ... Политика наша... может допускать возможность войны, но лишь в том случае, когда будет сознательно явствовать неуклонная необходимость или явная выгода оной для России» [Нессельроде 1872, 341]. Как и в конце 1980-х, лозунг «национальных интересов» звучит «трубным зовом почти изоляционизма». Преемник Нессельроде А.М. Горчаков синтезирует эти настроения в нашумевшей формуле «сосредотачивающейся России» (*la Russie se recueille*), каковую формулу, кстати, современники охотно переводили: «Россия задумывается» («собирается с мыслями»).

Что же происходит в эту пору «собираения с мыслями» – с геополитической мыслью России?

I

Объективно фаза сжатия Парижским миром исчерпалась. На рубеже 1850-х и 1860-х гг. видим новые явления: на юге – замирение Кавказа, прокладка железных дорог к Черному морю, на востоке – использовав англо-французскую войну против Китая, Россия, как «добрая посредница» и «защитница» Китая, утверждает на Амуре и в амуро-уссурийском междуречье. В 1857 г. иранский шах, с российской подачи, вновь пытается наступать на Герат, всполошив англичан угрозой Индии. И все же до середины 1860-х психология и идеология эпохи отмечены духом фазы D (фазы сжатия): брожение и революционный террор в Польше; наконец, восстание здесь, перекинувшееся в Литву и Белоруссию; английские поставки оружия мятежным кавказцам; попытки снаряжения польских отрядов в помощь силам Шамиля; демарши западных держав с угрозой признать поляков-повстанцев воюющей стороной – всё создавало картину продолжающегося расшатывания западных и юго-западных границ Империи агентурой европейских держав при поддержке последних. На Тихом океане маячили в Цусимском проливе английские корабли, а Русская Америка пребывала под давлением со стороны Британской Канады.

Политика Горчакова вся проникнута духом фазы D. Эта фаза определила тот курс, к которому позднее канцлер пытался адаптировать совершенно новую конъюнктуру, обозначившуюся со второй половины 1860-х и на протяжении 1870-х гг. сперва толкавшую Россию к азиатской экспансии, а позже как бы дававшую шанс нового «возврата в Европу».

Настроение этой фазы предельно отчетливо выразила знаменитая горчаковская депеша от 21 августа 1856 г., где прозвучали слова о «сосредоточивающейся России». «Сообщества тех, кто много лет вместе с нами отстаивали принципы, коим Европа обязана более чем четвертью века мира, – этого сообщества больше нет в прежней его целостности. Не по воле нашего августейшего повелителя возник этот результат. Обстоятельства вернули нам полную свободу действий. Император решил по преимуществу посвятить свое внимание благополучию своих подданных и сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов страны, обращая свою активность вовне только тогда, когда этого будут абсолютно требовать позитивные интересы России. Что касается молчания, в котором нас обвиняют, мы могли бы напомнить то искусственное возбуждение, которое недавно организовывалось против нас. ... На той охранительной деятельности во благо правительств, из которой сама Россия не извлекла никакой выгоды, спекулировали, чтобы обвинить нас в стремлении к невесть какому универсальному владычеству. Мы могли бы считать, что нашим молчанием напоминаем об этих обстоятельствах. Но мы не верим, что такая поза приличествует державе, которой Провидение отвело в Европе место, занимаемое Россией» [Сборник 1881, 5 (2-я пагинация)].

Тут весь Горчаков: попытка «оставаться в Европе», не «обращая активность вовне» и не рискуя новыми кризисами. Язвительный генерал-майор М.И. Венюков по праву писал о том, что за броской формулой «сосредоточения России» скрывалась обостренная осторожность. Именно она побуждала Горчакова праздновать Пекинский договор 1860 г. не как блестящую компенсаторную экспансию Империи, но как улаживание спора на востоке, завязавшегося одновременно с кризисом на западе. Она побуждала его трактовать судьбу проливов и Балкан как предмет общеевропейского надзора, воздерживаясь от всякой спонтанной российской активности – вплоть до готовности в 1876–1877 гг., когда Балканы полыхали антитурецким восстанием, оставить воюющих их собственной участи. Она же будет толкать его к замирению с Англией в Средней Азии, к попыткам сконструировать здесь в переговорах конца 1860-х – начала 1870-х некий буферный пояс. Этот пояс предотвращал бы столкновение, а значит, не позволил бы использовать редкие изначальные успехи России ради давления на Англию в новой балканской игре, но Горчаков к такой игре и не стремился.

Собственно, успехи Горчакова были связаны либо с защитой тех позиций, на которых оказалась Россия с 1856 г. (отпор европейскому демаршу по польскому вопросу), либо с демонстративным исправлением неких ущемлений России, не предполагающим какого-либо «проецирования мощи» с ее стороны (негоциации 1870–1871 гг., когда Горчаков отыграл формальное право России на черноморский флот, – но в обмен на право Турции по желанию пропускать в Черное море флоты своих европейских союзников).

Идеологи эпохи первой «евразийской интермедии» по-разному переживают это время. В статьях Погодина первой половины 1860-х звучат одни и те же навязчивые темы: вооружение Европы; крепнувший турецкий флот; план Наполеона III (вернувшегося к идеям Людовика XV и Талейрана) развернуть Австрию на восток, превратить ее из европейской державы в «восточное царство» (Ost-Reich), защищающее европейский вход от России; доступ Англии к Черному морю – «Милости просим хоть в Одессу, которая кстати получает более и более польский характер и готова соединиться железными дорогами с Польшей». По сравнению с погодинской публицистикой Крымской войны новые статьи поражают концептуальной бедностью, при общем лейтмотиве: Россия «упала с высоты своего величия и очутилась вдруг среди держав второклассных и третьеклассных и не смеет говорить там, где Англия и Франция, даже Австрия ре-

шают дела, лично до нее касающиеся, не только посторонние» [Погодин 1876, 136; 140; 153; 165; 335–336].

Иначе адаптируется к новой эпохе Тютчев. Опираясь на свой миф «Великой Резни народов», которая должна разыгаться без участия России и открыть путь к созиданию «другой Европы», он приветствует созревающее противостояние Пруссии и Франции. Он усматривает в «первой сознательной племенной войне между составными частями Европы Карла Великого» – «первый шаг к ее разложению» и начало «мирового поворота в судьбах Европы Восточной», отговаривая в специальной записке Александра II от любых попыток умиротворения, но живя ожиданием «взрывов», надеясь на одновременную комбинацию взрыва «восточного» на Балканах со взрывом «западным» в сердцевине романо-германской Европы, он готов примириться с длительным фактическим пребыванием России вне европейского пространства. «В интересе всей Восточной, т.е. Русской, Европы самое желательное – продлить еще на несколько лет этот тлетворный мир, так сильно содействующий процессу разложения, – а без полного коренного, разложения нельзя будет приступить к перестройке. Не в призвании России являться на сцене как *deus ex machina*. Надо, чтобы сама История очистила наперед для нее место». Так, жаждущий «взрывов» Тютчев оказывается союзником «сосредоточенного» Горчакова, конструируя сюжет-компромисс между идеалами и реалиями, в рамках которого самоотстранение России от мировой (европейской) игры становится необходимо в видах полного, коренного и т.п. «разложения» западного миропорядка и «расчистки сцены».

Между тем, поднимается генерация популярных публицистов, как бы открыто брезгующих внешней проблематикой, демонстративно сводящей вопросы России к внутреннему обустройству, просвещению и благосостоянию. Чернышевский недоумевает: как возможна борьба с Западом? Запад хлопочет о лучшем устройстве человеческого общежития, как же с ним бороться? Неужели средневековые порядки утверждать? На все декларации о славянах – естественных союзниках России (сейчас бы сказали – ее естественном Большом Пространстве) он отвечает, что коли война, не дай Бог, подвернется, союзником послужит тот, кому в данный момент будет с Россией по пути, а так-то войны с ее хозяйственными осложнениями и напряжением общественного организма лучше загодя не планировать. В том же духе заверяет Добролюбов, что исламистская проблема на Кавказе возникла только от русских грубостей и бестактностей, но просвещение и благосостояние всё поправят. Все проблемы России как бы становятся разрешимыми внутри нее, по ходу внутреннего совершенствования, без каких-либо планов, нацеленных на внешний мир (видение вполне горчаковское).

Как часть новой ориентировки, порожденной фазой сжатия, но вместе с тем несущей в себе потенциал «евразийского поворота», формируется русское, особенно сибирское областничество. Любопытны позднейшие воспоминания Г.Н. Потанина об обстановке, в которой оно поднималось. Выступления Костомарова и Щапова с планами федерализации России в условиях подготовки Земской реформы 1864 г.; взволнованная среда образованных провинциалов, уверяющих, что «каждая область должна иметь интеллигенцию, которая должна служить местному населению»; споры в Русском географическом обществе 1860-х насчет правомерности вкладывания средств в развитие Сибири, которое, мол, неизбежно приведет к ее отпадению; при этом академик Бэр доказывает, что отпадение земледельческих колоний – дело естественное и не вредящее метрополии, а Великий князь Константин Николаевич уверяет: «Сибирь – не колония, а расширение государственной территории» [Потанин 1907, 16]. Дискуссии переходят в практическое поле, создается «Общество независи-



мости Сибири», участник его арестовывается с листовками, следуют разгром и судебный процесс. От тех лет остались забавные стихи в одном из писем юного Потанина: «Пора провинциям вставать, / Оковы, цепи вековые / Централизации свергать, / Сзывать Советы областные» [Потанин 1987, 61].

Позднее, переосмысляя те годы, Потанин напишет о чисто территориальных предпосылках сибирского областничества, коренившихся в особенностях коммуникаций Европейской России и Сибири. «Чувство, вызвавшее эту идею, нужно искать в умах сибирского крестьянства. ... Сибирское население не могло не чувствовать, что оно живет вдали от остального русского мира. Оно не входило в район той сложной системы взаимных общений, которую экономическая жизнь создала в Европейской России. ... Сибирь входила в общение с этой округленной сферой только по одному направлению – с востока на запад (и обратно с запада на восток). ... Если в Сибири тоже была сеть перекрещивающихся торговых путей, то это была самостоятельная сеть, независимая от сети европейской России, потому что у Сибири был свой север, отдельный от севера европейской России, и свой юг, отдельный от юга европейской России» [Потанин 1907, 8–10]. Формулируя основные идеи для особого государственного статуса Сибири, Потанин вводит в перечень черты геополитические: «Отсутствие дворянства, оторванность от великорусских традиций, индивидуализм в сельском мире; распыление земельной общины и *tabula rasa* в сфере землеустройства, нахождение в крае многочисленных некультурных рас, другие физические условия, другой климат, другая природа, другое направление рек, другие морские берега и другие заграничные соседи, – все это поводы к тому, чтобы сибирское хозяйство, сибирские финансы были выделены из общеимперских» [там же, 60].

Тема областничества в то время обретает двоякий политический смысл. С одной стороны, областники исповедовали мнение, что «чем обширнее территория, тяготеющая к одному центру, тем остальное пространство обездоленнее и пустынное в культурном и духовном отношениях» [там же, 61–62]. Уже в 1870-х после отбытия ссылки Потанин напряженно занимается опытами – складывания местных центров, местных ресурсных потоков, на которые резко возникает общественный спрос в пореформенных условиях. Тезис Потанина о неизбежности конфликта сибирского населения не только с правительством, но и с могущественной буржуазией Европейской России толкает его к рассмотрению в письмах и статьях проблем капитализма, как и проблем Империи, с точки зрения отношения центров и опустошаемых, «высасываемых» ими окрестных пространств – подход, предвосхищающий построение «миросистемников» и неомарксистской географии XX в.

С другой стороны, современники связывали областничество, отнюдь не только сибирское, с выпадением России из большой европейской игры, с ослаблением западной фокусировки. Достоевский в 1870-х прямо объяснял областническую волну тенденцией к «закрытию европейского окошка» российским политическим откатом из Европы и последовавшим затем снижением значимости столиц как центров, имеющих якобы исключительный и прямой выход в европейский мир. И. Аксаков даже в 1880-х будет приветствовать областничество как надежную опору почвенничества и противовес западничеству столичных кругов. Надо признать: отступление из Европы, пафос «сосредоточения», лозунг национальных интересов как «трубный глас почти изоляционизма» и встречное повышение массового интереса к внутренней геополитике, к вопросам самоуправления и федерализации, возрастающее внимание к зауральскому сибирскому массиву, споры о его будущем и его значении в русской истории, переходящие в революционные планы и ответные репрессии, – вся эта констелляция ярко характеризует фазу «сжатия» России после «европейского

максимума» (фаза D) при ее переходе в собственно евразийскую интермедию, а в какой-то мере и последнюю в ее разворачивании, переплетаясь с попытками созидания российского пространства вне Европы. Показательна в этом плане личная судьба Потанина – активист зауральского областничества с 1860-х, разработчик вопросов российской локальной (краевой) геоэкономики в начале 70-х, с конца 70-х по 90-е он выступает сперва участником, потом организатором прославленных экспедиций в Туву, Монголию, Тибет, застенный Китай – одной из знаковых фигур первого азиатского крена Империи.

II

Симптоматично, что в ту пору сильным раздражителем русской мысли становятся сочинения такого автора, как польский эмигрант Ф. Духинский. Опубликованный с 1840-х сам Духинский видел в себе продолжателя идей, выдвинутых А. Мицкевичем в его парижских лекциях после краха польского восстания 1830 г. В этих лекциях Мицкевич трактовал русских как славянское племя, «погибшее» или роковым образом мутировавшее под влиянием впитанных им финских и татарских (туранских) компонентов и сохранившее со славянским миром лишь лингвистическую связь. По словам А. Гильфердинга, Мицкевич видел в современных русских «массу», проникнутую «духом монгольского племени», «духом рабства и разрушений» – то есть духом «противославянским» [Гильфердинг 1868, 63]. Эту эмоциональную схему Духинский переработал в целую доктрину столкновения «арийского» и «туранского» (по-современному, урал-алтайского) миров, с фронтиром между ними по рубежу Днепр – Западная Двина. Славяне оказываются на краю «арийского» европейского пространства; по ту сторону фронта им противостоит лингвистически ослабявшееся племя «московитов», сохранившее азиатскую традицию боготворения царской власти (по Духинскому, *tsarat*). Доктрина Духинского выпячивала историческую роль украинцев, или «рутенев», как крайнего на востоке чисто славянского племени, в первую очередь принявшего на себя давление московитов и подпавшего под их власть. Духинский допускал мирное сосуществование «московитов» в случае сознательного и четкого размежевания их географических пространств. Как писал один его поздний поклонник и популяризатор, «московиты в настоящее время должны выбирать между двумя судьбами: или они становятся в авангарде Европы ... против азиатских орд, чтобы их задержать и отбить в Азию, или они становятся во главе самих этих орд, чтобы руководить ими и направлять их в нашествии и в оккупации ими всей Европы» [Prêt 1892, XX]. Последний вариант – это собственно схема из «Завещания Петра Великого». Первый же связан с разворотом «Московии» прочь от Европы вглубь Азии. Россия становится азиатским «авангардом Европы», если откажется от присутствия в европейском мире. Надо отметить, что если лекции Мицкевича не получили никакого отклика в российской идеологии времен нашего первого европейского максимума, то в 60-х реакция на Духинского впечатляет: на него откликаются Костомаров, Погодин, Данилевский, С.М. Соловьев, А. Гильфердинг, причем последний в этой связи вспоминает и о первоисточнике Духинского – Мицкевиче.

Нелепости у Духинского налицо: чего стоит его мысль, якобы нашествие Батюга было спровоцировано продвижением древнерусских князей (славян-рутенев) в бассейны Оки и Волги, на земли будущей Московии, – и монголы якобы шли на помощь еще не ослабявшимся предкам московитов! Однако раздражающие фантазии Духинского оказались слишком актуальны: развернув схему столкновения европейской и российской цивилизаций, этот автор выдвинул тезис об особом неевропейском русском пространстве не где-то за Уралом, а по восточную сторону того самого двинско-днепровского барьера, который в Крымскую войну рисовался Погодину и многим другим пугающей ли-

нией рокового максимального отката России к допетровским пределам. Сделав упор на «туранских» элементах русской истории, Духинский подкапывался под идею «1000-летия России», объявляя ее значительно моложе и вместе с тем заявляя об особом генезисе цивилизации на российских пространствах, лежащих вне славянского окраинно-европейского ареала. Позднее Пыпин отметил, что Духинский прямо сомкнулся с атаковавшими его поздними славянофилами в ключевой идее цивилизационного размежевания двух миров; спор, собственно, шел о том, по какую сторону фронта быть славянам, не входящим в цивилизационное ядро Великороссии. Если по русскую – разлом пойдет по линии Данциг – Триест, если по европейскую, как у Духинского, – то по линии двинско-днепровской. В этой полемике, как раньше в текстах Тютчева, вырисовывалась широкая полоса на входе Европы, в пределах которой могут конструироваться разные варианты расширения и сжатия «русского пространства» на Западе и, напротив, западноевропейского на Востоке.

Очень любопытны интеллектуальные «встречи» Духинского с популярнейшим в конце 50-х и начале 60-х Герценом. Последний, сохраняя веру в «новый» славянский мир, противостоящий враждебной ему «старой» Европе, после Крымской войны великолепно переработал эту установку применительно к новому раскладу. Если в частных письмах он обзывает сочинение Духинского «белибердой», то в работе «Россия и Польша», оформленной как послание польским эмигрантам, он с уникальной духовной переимчивостью обыгрывает мотивы польского «фантазера». Оттолкнувшись от старого тезиса об «обманчивом сходстве правительственных форм» России и Запада, подстроенном под культурным и бытовым разрывом, он солидаризируется с корреспондентом в том, что лучше и естественнее было бы славянскому миру разделиться на две отдельные части – то есть по одну сторону была бы Россия – славяне, смешанные с чудью и туранскими племенами, по другую – Польша и старые славяне (т.е. южные. – В.Ц.). Призвание и поприще первых – «огромные плоскости Азии до Тихого океана». Назначение других – «отпор германскому владычеству и завоевание Турции» [Герцен XIV, 39]. Согласившись с этой доктриной, отводящей европейским славянам роль заслона (балтийско-босфорского) Европы от России, Герцен признаёт: «России действительно главное дело дома и в Азии». Смакуя оценку России как «плохого славянского мира с примесью чудских и туранских элементов», он восклицает: перед европейским цивилизационным тупиком «едва ли не придется нам благословить “чудские и туранские” элементы, попридержавшие наше “старославянское” развитие» и позволившие теперь нам выбрать неевропейский цивилизационный путь [там же, 57]. Он верит, что лучшим для русских поляков вариантом был бы свободный союз, крушащий Австрию и освобождающий западных славян. Но он готов признать и независимую Польшу, если она «действительно больше принадлежит к старозападному миру и хочет рыцарски делить его последние судьбы» [там же, 59], и даже независимую Украину [там же, 21]. Иначе говоря, его веру в азиатско-тихоокеанские перспективы России не смущал бы и днепровско-двинский барьер.

Еще в 1853 г. он отчеканил формулу о «Тихом океане – этом Средиземном море будущего», на два года отстав от высказавшего подобную же метафору Маркса и на 40 с лишним лет опередив Ф. Ратцеля. Последний сам едва ли не почерпнул ее во время поездок в Америку из тамошней прессы, где, по данным Герцена, этот афоризм со ссылкой на русского мыслителя муслировался в 1850-х. Сопоставление американской и русской колонизаций в «Былом и думах»; раздумье в «России и Польше» о ненужных Европе двух странах, которые «народились по сторонам ее, как два огромных флигеля»; особая статья «Америка и Сибирь» на тему русско-американской встречи «по ту сторону» европейской цивилизации – все эти контексты тяготеют к идее тихоокеанского союза

двух миров, оторвавшихся от бонапартистской Европы. Итоги Крымской войны им рассматриваются как конец петербургского «осадного положения» – кошмара российского псевдоевропеизма. С тем же пафосом, с каким он раньше предрекал в победе Николая I над Западом прорыв России по ту сторону петербургской эпохи, он пишет в 1858 г.: «Если Россия освободится от петербургской традиции, у нее есть один союзник – Северно-Американские Штаты». Он прославляет Муравьева-Амурского и Путятина: «Во время мрачных европейских похорон, где каждый что-нибудь оплакивал, они с одной стороны, американцы с другой, сколачивали колыбель» [Герцен XIII, 399; 403].

Образцом совершенно иной, глубоко продуманной и пережитой реакции нам предстают сочинения знаменитого панслависта 1860-х и 1870-х генерала Р.А. Фадеева. Он ясно различает две России, причем первой, опорной для него оказывается вовсе не наличная Империя, как для Тютчева, но «коренная Россия, от Днепра до Тихого океана, Россия царей и Екатерины II». Ей как единый феномен противопоставлена «Россия настоящего и будущего, одолевшая Польшу и воссоединенная, единственная ныне представительница, в глазах света, славянского племени». В условиях Империи ядровая, коренная Россия «неприкосновенна для внешнего врага» – и в том ее преимущество перед всеми европейскими державами, у которых национальное ядро не окутано такой защитой. Вся западная граница Империи (от Балтики до Черного моря), по Фадееву, «не иное что, как произвольная черта, которая может так же легко отодвинуться далеко назад, как и выступить вперед, смотря по обстоятельствам и умению пользоваться своими средствами» [Фадеев 1889–1890, 32]. Эта неопределенность границ Империи на западе для него – неизменное состояние с момента ее выхода за пределы «коренной России»: «С того времени как Россия ... выступила из пределов чисто русского племени ... и вдвинулась в чересполосицу восточного края средней Европы, славянского по населению, немецкого по официальной окраске, западная ее граница стала произвольной и случайной чертой, зависящей от первого крупного политического события». У этой границы масса откатится назад к российскому «ядру», что вело бы к поглощению славянской «породы» – «породою» немецкой, хотя промежуточной ступенью на этом пути может быть формирование с западной подачи «славянского союза помимо России» [там же, 244; 313].

Итак, выбор зависит между редукцией Империи к «ядровой» России или созданием по этнолингвистическому критерию на западе панславистского Большого Пространства. Каждое из этих решений явится самоопределением России, пока застывшей в цивилизационной неопределенности. «Что мы выиграем нравственно с восстановлением славянского мира? Мы выиграем то, что будем знать, кто мы и куда идем» [там же, 319]. В случае неблагоприятного решения, «такого решения, которое перенесет вопрос с наших внешних окраин на внутренние окраины» [там же, 293], «коренная Россия» – прямо по Духинскому и со ссылкой на него – определится как фрагмент исторически ушедшего туранского мира: «или мы – славянство с его будущим, или мы – Туран, незаконное вторжение прошлого». «Славянство или Туран – другого выхода нет» [там же, 326]. В отличие от Духинского Фадеев не считает Россию исконным Тураном, пытающимся поглотить славянскую окраину Европы, но это некая нестойкая восточная часть славянства, которая будет обречена на «туранизацию», в случае если не сконструирует и не утвердит себя по-иному через панславистскую сборку. Для Фадеева, Туран – исход без будущего (почему – он не детализирует). Единственный для нее способ обрести будущее – на путях осуществляемого размежевания двух великих «пород»: славянской и немецкой.

Переходя с уровня геополитической имажинации к геостратегии, от постулируемых для России ценностей и интересов к практическим целям и зада-

чам, Фадеев прежде всего настаивает на радикальном изменении смысла так называемого «восточного вопроса»: «От прежнего восточного вопроса осталось одно название; все прочее – сущность и размеры стали иными» [там же, 249]. Если за точку отсчета принимать конец XVIII в., когда Восточный вопрос связывался с «турецким наследием», то «расширение вопроса» связывается исключительно с меняющимся положением Австрии, слабеющей и отчаянно пугающейся за свои славянские владения¹. «Английский аспект» проблемы мало интересен для генерала: британский флот – слабая помеха для наступления на Балканы со стороны континента. Главной препоной для интересов России становится Австрия, держащая в руках ворота между юго-восточным углом Карпат и устьем Дуная, нависающая с тыла над театром любой российской балканской кампании. Отказавшись уже в 1853 г. быть континентальной опорой России, она содействовала антироссийской коалиции в осуществлении ее замыслов со стороны моря. Занимая центральное положение в балтийско-балканской полосе, Австрия полностью контролирует все действия России в интервале между российским ядром и коренной Европой. Кроме того, как свидетель австро-прусской войны, Фадеев констатирует: с утратой собственно европейской роли Австрия становится по преимуществу развернутым в неевропейские пространства европейским (германским) авангардом, получающим в этом качестве полную поддержку нового, северо-германского центра коренной Европы.

В отличие, как увидим, от Данилевского Фадеев понял сразу, что задача Бисмарка – не только формирование германского национального пространства, но сохранение контроля немецких центров над восточными приделами Европы – над Балканами и Балто-Черноморьем. Даже тогда, когда Бисмарк субъективно, может быть, и искренне выражал готовность считать проливы достоянием России, Фадеев предсказывает будущие попытки включения в германскую зону турецко-славянских и румынских областей, становление сперва германо-турецкой, а затем и прямо германской гегемонии на Черном море (опережая историческую динамику на 40 лет). В таких условиях Восточный вопрос в старом смысле по стратегическим обстоятельствам становится «южной половиной славянского вопроса», в рамках которого главным фокусом на первых порах должна стать не задунайская, южнославянская группа, а северная, центрально-европейская: чехи, словаки, поляки².

Восток Центральной Европы должен стать главным направлением атаки, причем должна считаться «главным врагом никак не Западная Европа (франко-английская. – В.Ц.), а немецкое племя с его непомерными притязаниями (в Балто-Черноморье. – В.Ц.)» [там же, 296]. Контур будущей Антанты как бы прорисовываются в указании Фадеева на то, что при глубочайшем российско-европейском расхождении и противостоянии «от России ни в каком случае не зависит создать союз» в Европе. «Россия может только пристать к одному из двух лагерей, на которые по временам делится Европа» [там же, 269]. Чтобы избежать «пути в Туран» Россия должна быть готова к сближению с тем лагерем в Европе, который стерпит ее контроль над выступающей как стратегическая целостность полосой от Балтики до Балкан, вплоть до границ немецкого племени.

¹ «При таком переходном состоянии, все, что происходит в одном углу этой чересполосной страны, не может не отозваться со временем во всяком другом углу; думая о Литве, о балтийском побережье или о Черном море, мы не можем не думать одновременно о Богемии и Румынии» [Фадеев 1889–1890, 245].

² Отсюда и решение польского вопроса, по Фадееву, близкое к старому решению Пестеля: подготовка Польши к суверенности в союзе с Россией при выведении из-под польского влияния и русификации «Северо-Западной России» (Литвы, Белоруссии, Западной Украины).

Фадеев забыл, что Восточный вопрос получил новый смысл по сравнению с XVIII в. уже при Николае I, когда он зазвучал как вопрос русской гегемонии над восточным центром романо-германской Европы, а через него и над этой цивилизацией в целом. Для него как геополитика – это вопрос размежевания России с Европой, причем размежевания на преимущественных для России условиях, исключающих ее «сползание в Туран». «Воссоздание славянского мира значит ли всемирное преобладание? Конечно, нет; но первенство в Старом свете – да!» [там же, 318]. Славянская независимость есть, прежде всего, подручное средство конструирования пространства, обеспечивающего как культурное самоопределение, так и безопасность российскому ядру. «В наше время, когда Европа поделилась на несколько огромных масс, когда лишь тот имеет право на отдельное существование, кто выставляет полмиллиона солдат, когда даже старые государства, как Голландия и Швейцария, начинают бояться за свое будущее, что значит международный щербень, каковы чехи, хорваты и другие?» [там же, 290]. При этом дело не просто в полумиллионах солдат. «Первенство между народами решается теперь не на поле битвы, а географическим их положением» [там же, 318], – и панславянское решение обеспечит такое положение для России, вместе с безопасностью ее ядра «от Днепра и до Тихого океана».

Подобно Герцену, Фадеев видит в САСШ партнера России по обустройству будущего миропорядка, совпадая с издателем «Колокола» почти что в словесных формулировках. «По окраинам Европы – в Америке и в России – выросли два новые, живые человечества, не замкнутые в тесной перегорожке, как европейские нации, но разливающиеся без препятствий по необозримым горизонтам, растущие без меры во все стороны, насколько станет у них естественного роста» [там же, 318–319], обрекающие романо-германские старые нации на второразрядные роли сравнительно с восточными и западными соседями.

Несомненно, что «доктрина Духинского» при всей фантастичности ее исторической подоплеки всерьез спровоцировала русских авторов на вопрос о том, что такое пространство России вне коренной романо-германской Европы. Герцен и Фадеев отчеканили два варианта ответа. Оба приняли границы «ядровой» России по Духинскому – «от Днепра до Тихого океана» – без обозначения южных пределов. Герцен принял трактовку русских как «плохих славян, смешанных с чудью и финнами», и отвел им место – «дома и в Азии», при условии возникновения между ними и старой Европой славянского пространства, охватывающего часть Турции и сопротивляющегося германизации, с его обитателями, «рыцарски» разделяющими судьбу Европы. Для Фадеева немыслимы ни отступление России с балто-черноморского перешейка, означающее слияние с миром «отживших» племен, ни особый славянский союз между Россией и Европой, который ему видится переходной стадией к германизации Балто-Черноморья, включая Черноморский бассейн.

Два ответа российской геополитики Духинскому, представляя два разных видения русского пространства, вторили двум бросавшимся в глаза русскому середине 1860-х новым феноменам российской общественной жизни и политики: бурной активности создаваемых с конца 1850-х «Славянских комитетов» и в то же время поступающим сообщениям о стремительном расширении Империи в Центральной Азии. В этой первой части нашей протоевразийской фазы российская внешняя политика объективно обретает два фокуса, каждый из которых охватывает по-своему старый Восточный вопрос, придавая ему особую интерпретацию: в одном случае он представал как «вопрос австрийский», в другом – как вопрос английский по преимуществу.



III

С первых же лет мощного наступления России – пока между Каспием и китайским Восточным Туркестаном – начинаются попытки его истолкования в диапазоне от весьма наивных до крайне рафинированных, внесших в нашу геополитику богатый взнос. Продолжаются эти истолкования и по сей день.

Можно ли согласиться с версией, трактующей этот «натиск на юг» как изначально продуманное покушение на Британскую Индию? Я не говорю о дилетантских историософских экзерсисах, когда в одну схему грез об Индийском океане укладываются и народные сказания о богатой Индии, и «Хождение» Афанасия Никитина, и мечты Петра I, и куцый бросок Павла I, и т. д. вплоть до контактов Л.И. Брежнева с И. Ганди. Авторы подобных истолкований оказываются беспомощны перед вопросом: почему эта «индийская тяга» у русских могла никак не обнаруживаться в течение целых веков или, по крайней мере, десятилетий, не проявляясь ни между Петром I и Павлом I, ни в царствование детей Павла. Однако даже у весьма квалифицированных экспертов встречаем утверждение о Средней Азии как маловажном самом по себе интервале русского броска к Индии [Замятин 1998; 1999]. При этом не учитываются совершенно противоречащие такому толкованию свидетельства от 1860-х и 1870-х гг. В частности, не учитывается особенность первоначальных «индийских» планов в России XIX в., имевших чисто деструктивный смысл дестабилизирующего удара по Индостану как по враждебной территории. Кроме того, игнорируется тот факт, что до 60-х планы такого удара вовсе не предполагали освоения Средней Азии, имея в виду использование союза с Ираном для наступления на Индию либо морем (по И.В. Вернадскому), либо через юго-восточное побережье Каспия, Астрабад и далее Герат (как позднее сформулировал А.Е. Снесарев, «европейским путем в Индию»), оставляя Среднюю Азию в стороне. И в самом деле, если бы речь шла только об угрозе «жемчужине британской короны», из трех путей через Среднюю Азию, по Каспию или через Иран со стороны Кавказа, естественно было бы по трудности первого пути предпочесть любой из двух последних.

На то были и возможности. Иран в 1858 г. возобновляет претензии на Герат, причем шах выступает с проектом русско-иранского договора против Англии.

Англичане и в 1830-х и после Крымской войны рассматривали Иран с его афганскими претензиями как естественного агента России [Венюков 1877, 47]. С российской стороны в 1875 г. генерал М.А. Терентьев уверенно писал: «Персиянин навсегда останется тем, что он есть: впечатлительность – не его вина и отделаться от нее он не в силах. На этой-то струне мы и будем всегда играть свои победные марши! ... Отрезав враждебные нам ханства от Турции ... ненавидимая ими за шиитизм еще более, чем мы за христианство – Персия есть наша естественная союзница» [Терентьев 1875, 206]. Он же: «Эта страна, благодаря своему географическому положению и религиозной отчужденности от остального мусульманства – есть наша естественная союзница. ... Только тогда, когда этот страх (в Иране. – В.Ц.) перед Англией и это сомнение в силах России – поменяются местами, только тогда мы можем сказать, что наше влияние в Персии действительно сильнее английского» [Терентьев 1876, 246; 262]. Несомненно, что в военных и политических кругах России после Крымской войны крепнет течение, рассматривающее Англию как главного противника, а Восточный вопрос, подобно П.А. Вяземскому, – как «английский вопрос». Уже в 1857 г. военное командование в Петербурге и Тифлисе думает над планами «возмездия англичанам в Индии» [Венюков 1877, 48]. На рубеже 50-х и 60-х директор Азиатского департамента МИД Н.П. Игнатъев, герой Севастопольской обороны генерал С.А. Хрулев и др. то рассуждают о неизбежности «войны с Англией за Азию», то, напротив, предполагают демонстративными угрозами Ин-

дии добиться от Англии компромисса на Ближнем Востоке (включая Балканы) [ИВПР 1997а, 88; 95]. Все равно остается необъясненным – почему был избран не «европейский путь» с опорой на Иран, а многолетнее движение через степи и пустыни. Объяснение Терентьева [Терентьев 1876, 182]: «Пробовала она (Россия. – В.Ц.) достигнуть (до Индии. – В.Ц.) через Персию – не пускают; пробовала из Астрахани через Бухару и Хиву – не повезло. Петр I указал третий путь через киргизские степи», – неудовлетворительно. Остается непонятным, кто «не пускал» через Иран, если шах, наоборот, был склонен к союзу. Что до англичан, они равным образом склонны были «не пускать» Россию со стороны Средней Азии, как и со стороны Ирана.

Здесь возникает надобность рассмотреть другую мотивировку, также широко встречающуюся в литературе. Она упирает на отсутствие у Империи жесткой южной границы, обрекавшей ее – приоткрытую степям, обиталищам кочевников – расширяться на юг до прочных естественных пределов. Сперва Россия пыталась, чтобы обеспечить себе мирную жизнь, воздвигнуть в степях оборонительные линии – Оренбургскую, по Сыр-Дарье, и Сибирскую, по Иртышу. Между линиями образовался зазор, соединение же их в 1864 г. с захватом земель Южного Казахстана столкнуло Россию с Кокандом, Хивой и Бухарой. Покорение же этих государств привело русских в пустыни Туркмении. По словам того же Терентьева, противоречащего его собственному, цитированному только что утверждению, «наше движение на восток, конечно, не зависело ... относительно возможности добраться этим путем до Индии... (мы. – В.Ц.) преследовали только свои насущные, ближайšie цели, понятные каждому простому солдату: “наших бьют, значит, надо выручать” – вот и поход» [Терентьев 1876, 183].

В другом месте он же [Терентьев 1875, 7–9] пытался развить то же обоснование более углубленно: «Сибирь мы заняли, так сказать, с налета, от степей же Средней Азии отрецивались сколько могли. Судьба толкала нас к Аральскому морю, а мы упирались, не шли. ... Соседство с дикими, не признающими ни международных и никаких прав, кроме права силы – вынуждало нас укреплять границу линией крепостей; под защиту этих крепостей являлись по временам, с просьбой о правах гражданства, то есть о защите – дикие племена, теснимые более сильными; эти новые подданные чрез несколько времени оказывались хуже врагов; нам приходилось или задавить их окончательно, или прогнать, но и в том, и в другом случае необходимо было оцепить занятую ими территорию рядом новых укреплений – являлась, значит, новая линия. Так *перекатными* линиями и подвигается Русь на восток, в тщетной погоне за спокойствием». Он пробует показать, что проблема коренилась исконно в самом характере русского освоения Сибири, когда, концентрируясь в речных долинах, русские стремились оградить свои места обитания со стороны степи, «врезываясь по рекам вглубь степей, цепи укреплений образовали таким образом целую систему коридоров, ничем не перегороженных. Будучи связаны с центральными административными пунктами, сибирские цепи были крепки *по долготе* и слабы *по широте*, ибо укрепления соседних линий не имели поперечной связи, за безводием разделявших их степей. В эти коридоры беспрепятственно проникали шайки грабителей, опустошавших наши поселения» [там же, 11].

Стремление объяснить бросок России в Среднюю Азию феноменом размытой «азиатской границы» изначально отличало руководителей Империи. Так, Горчаков в известном циркуляре от 21 ноября 1864 г., объяснявшем начало большого наступления на юг, рисует картину, когда каждый умиротворенный кочевой сосед становится объектом посягательств более далеких варваров, что заставляет ради защиты новых подданных переносить границы все время вдаль. Горчаков философски заключал, что в варварском соседстве цивилизованное государство «должно решиться на что-нибудь одно: или отказаться от

этой непрерывной работы и обречь свои границы на постоянные неурядицы ... или же все более и более подвигаться вглубь диких стран, где расстояния с каждым сделанным шагом увеличивают затруднения и тягости, которым оно подвергается» [Мартенс 1880, 23].

Развивая эту версию, Терентьев как-то не вдавался в вопрос о причинах контраста между бросковым завоеванием русскими Сибири и медленным до поры до времени выдвиганием их в Среднюю Азию. Подняв специально эту тему, видный востоковед В.В. Григорьев объяснял успехи русских в Сибирской экспансии преимущественно оседлым характером местного населения [Григорьев 1867], будь то звероловы или даже пастухи. «Степи Южной Сибири заключили и заключают в себе население пастушеское, но не кочевое. ...С настоящими кочевниками, летовища которых отстают от их зимовок на сотни, иногда на тысячи верст, встретились мы лишь в средней Азии, когда с тридцатых годов прошлого столетия господство наше распространяется на степи ее из Южной Сибири и заволжского низовья. Подчинить себе кочевников было для нас намного труднее, нежели утвердиться между бродячими скотоводами, перемещающимися на небольшие дистанции». «После бесчисленных ошибок в разных родах все-таки кончили мы, однако ж, тем, что познакомились с природой степей, со средствами их и недостатками, со способами войны в них, с потребностями, обычаями и духом кочевников». Григорьев не считает степи Южной Сибири, освоенные русскими в доимперскую эпоху, за степи подлинные; выход в настоящий мир степей он датирует началом сюзеренитета над Малым Жузом при Анне Иоанновне. В XX в. П.Н. Савицкий осмыслит это различие как оппозицию луговых степей или лесостепей с лесными вкраплениями – и ковыльно-попынной степи к югу.

В этом направлении глубже всего мыслил в те годы М.И. Венюков, усматривая причины «затягивания» России в Среднюю Азию в «ошибке», совершенной ранней Империей, когда первые группы дахов были при Анне приняты, из-за имперского тщеславия, в российское подданство. По Венюкову [Венюков 1873, 8], в конце XVII столетия мы имели в Азиатской России совершенно естественную границу на юге – границу, лучше которой во многих отношениях у нас нет и не было никогда. Казаки и промышленники остановились на Иртыше, на Алтайских и Саянских горах, на Аргуни и Амуре, но ни киргизские степи, ни Туркестан, ни Джунгария и Монголия «их, представителей жизни оседлой, совсем не пленили». На его взгляд, границы «по рекам Уралу, Миасу, на Курган к Омску, отсюда по Иртышу, потом по предгорьям Алтая южнее Бийска ... были, в некотором смысле, естественные пределы для нашей территории в северной Азии, ибо охватывали собою одни бассейны рек, текущих в северные моря, ни более, ни менее. Исключение составлял один Нерчинский край; но и он ... представлял такую часть государства, которая была плотно связана с другими и притом еще могла служить в будущем базой для наступательных действий на Амуре, которого верховья лежат именно здесь. В степи Средней Азии, безводные или орошенные не имеющими выхода озерами с их незначительными притоками, мы тогда еще не делали шагу» [там же, 9–10].

Если Маккиндер определял хартленд через два типа вод – реки, текущие в Северный Ледовитый океан, и замкнутые водоемы Центральной Азии – и тем самым связал в один геополитический комплекс сибирские леса и центрально-азиатские степи, то для Венюкова лишь первые представляли естественную ландшафтную нишу русских. Исходной ошибкой, на его взгляд, было принятие в 1731 г. под опеку Империи Малой и Средней Орды и попытки соорудить линии в казахской степи. С 1730-х по 1820-е из-за несовпадения этих линий с областью передвижения «подданных» кочевников налицо было «странное явление двойной государственной границы – действительной и фиктивной – на пространстве

от Каспийского моря до подножий Алтая» [там же, 26–27]. Второй ошибкой стали попытки, начиная с губернаторства М.М. Сперанского, превратить азиатскую границу-фронт в прочный территориальный рубеж европейского типа. По Венюкову [там же, 12; 26], «тут начало системы, которая привела нас за Балхаш, к Или, к Алатау и наконец в Небесные горы и в Туркестан, системы, выработанной не народом, не партиями завоевателей-колонистов, а администрацией, то есть самим правительством. ... Здесь родилась та дорого стоящая России система движений вперед по степям бесплодным, безводным и населенным такими подданными, что от них нужно обороняться линиями крепостей». Впрочем, он готов признать, что «в степях, по самому свойству их обитателей, приходится следовать правилу: ничего или всё. ... Кочевых среднеазиатцев или не нужно совсем принимать в подданство, или неизбежно брать всех» [там же, 14]. Попытку притормозить на этом пути представляет, по Венюкову, попытка в 1840-х гг. опереть «довольно естественный рубеж России» на «северную окраину голодной и песчаной степной полосы, которая от Каспийского моря, через Усть-Урт, тянется на севере Аральского моря, Сыра и Чуя, а потом по берегу Балхаша» (собственно рубеж ковыльных степей и поленных пустынь. – *В.Ц.*). Тогда предполагалось «остановиться в распространении к югу и испытать, не довольно ли будет для охранения наших земель небольшого числа укреплений, поставленных вдоль этой окраины, севернее ее». Казалось, что «через голодные пустыни хищники не могут к нам проникать большими партиями из-за границы» [там же, 29]. Но этот вариант не пресек «двоеподданничества» ряда кочевых племен, и дрейф на юг продолжился, тем более что, приняв в 1846 г. под опеку Большую Орду, Россия совершила «второй роковой шаг», после которого уже не было поворота назад вплоть до горных хребтов, окаймляющих с юга Среднюю Азию, и до утверждения «русской украины» по Аму-Дарье [Венюков 1877, 4].

Значение работ Венюкова в том, что он очертил две мыслимые «естественные границы» России на юге: это может быть либо экологическая граница, опирающаяся на переход лесостепи собственно в ковыльную степь так, чтобы Россия в основном контролировала долины рек Ледовитого океана, либо граница по южному горному поясу. Эти варианты соответствуют либо России, противостоящей тюркской Евразии, либо «России-Евразии» в собственном смысле. Он показал, что выход России в центрально-азиатскую степь – феномен имперский, тогда как Московское царство прочно противостояло степной Евразии, и границы его были едва ли не более мотивированы, чем любые промежуточные решения в диапазоне между двумя очерченными «естественными» рубежами. Наконец, в качестве паллиативной и нестойкой разделительной линии в этом интервале он выделил северный край полосы поленных степей – черту, сегодня условно отделяющую русифицированный Северный Казахстан от Южного.

Еще одну геокультурную границу в центрально-азиатском поясе провел В.В. Григорьев [Григорьев 1867], отмечая, что, перевалив через хребет Каратау (юг Казахстана), перейдя от страны кочевников к стране оседлых земледельцев, «вместо шаманистов, считающихся мусульманами лишь по недоразумению около полутора столетий уже, впрочем, продолжающемуся, мы будем иметь подданными настоящих магометан». Собственно в физико-географическом смысле этот переход можно описать как переход от казахских поленных полупустынь к узбекско-туркменским поленно-солянковым пустыням с областями поливного земледелия.

С другой стороны, Венюков предложил интересную, хотя и несколько мистифицирующую трактовку русского напользания на Среднюю Азию до встречи с ираноязычными народами Персии и Афганистана как возрождение в Азии единого «арийского пространства», некогда разорванного тюркским напором [Венюков 1878, 2 сл.]. Поскольку надежными границами России могут быть лишь

«северные подошвы Альбурса и Гиндукуша», постольку она «должна подчинить себе всех туркмен, узбеков и таджиков, живущих в арало-каспийской низменности». Соседями ее станут «персияне и афганцы», арийцы, которые «всегда могут и должны быть сделаны “младшими братьями” России. ... афганцы, персияне и белуджи останутся надолго промежуточными между русскими владениями в Туране и английскими в Индии» [там же, 21]. Особенно интересным, хотя не до конца раскрытым, остается утверждение Венюкова о том, что, взяв под контроль Туран и начав вытеснять «чистых туранцев» смешанным населением [там же, 5 сл.], Россия должна воздержаться от дальнейшего наступления на Средний Восток, ибо «всякие завоевания в том направлении внесли бы новую этнографическую рознь в население, подвластном русскому скипетру» [там же, 22]. Наряду с геокультурным рубежом Григорьева, отделяющим казахов-«шаманистов» от оседлых тюрок-мусульман, Венюков приводит еще одну геокультурную черту, совпадающую со второй «естественной границей России» и отделяющую покоряемый Россией среднеазиатский Туран от иранского «ядрового» Среднего Востока.

Можно сказать, что русская геополитическая мысль 1860-х и 1870-х выстраивает сетку физико-географических и геокультурных характеристик, дифференцирующих Туран, описывающих его как последовательность признаковых переходов от коренной России к мусульманскому Среднему Востоку с его ираноязычным ядром.

Надо сказать определенно: если версия, связывающая экспансию Империи в Средней Азии с «порывом к Индии», не объясняет, почему оказался выбран столь трудный и проблематичный путь вместо иранского, хорошо просматриваемого пути, то версия, связывающая эти завоевания только с особенностями азиатской границы, не объясняет темпов и интенсивности наступления. На протяжении 90 лет существования двойной границы и потом почти 100-летних попыток провести твердую границу, связав ее степняков, имперское правительство, по словам Терентьева, на бухарскую, кокандскую и хивинскую торговлю русскими рабами отвечало «презрением». И вот за считанные 10 лет уничтожено три государства: одно из них поглощено Россией, два превращены в ее вассалов. Позднее А.Е. Снесарев всерьез замечал, что причиной этого похода было движение по линии наименьшего сопротивления – «просто туда, где прежде всего было легче пройти» [Снесарев 1906, 16]. Он по праву отмечал совершенно исключительную роль местных военачальников, генерал-губернаторов и т. д., действовавших при пассивном одобрении (а иногда даже при малоактивном неодобрении) правительства совершенно наподобие атаманов XVI–XVII вв. [там же, 20]. Но разве в южном направлении стало в 1860–1870-е вдруг почему-то «легче пройти», чем в прошлые десятилетия? И если новоявленные «атаманы» могли увлечь за собой правительство, не говорит ли это о переменах геополитической идеологии эпохи? Связать ли это с Крымской войной и с «выталкиванием» России на восток? Но почему одновременно клокочет деятельность Славянских комитетов, и на славянском поприще встают такие же активисты-«атаманы», а некоторые, как знаменитый генерал-майор М.Г. Черняев, свободно перемещаются с одного поприща на другое, со среднеазиатского на славянское?

Мы объясним это, лишь усмотрев за всеми этими тенденциями единый гео-идеологический импульс к конструированию «своего», особого российского пространства из земель, которые обретались бы за пределами «коренной» Европы, не входя в ее расклад – или могли бы быть изъяты из этого расклада. При этом множатся критерии и обоснования для разных вариантов конструирования такого пространства, обоснования физико- и культур-географические. Причем последние могут предполагать как собиравание вокруг России народов и пространств, близких к некоему признаку (панславизм или «панправославизм»

Достоевского), либо, наоборот, собирание и замирение «чужого» пространства, источник многовековых беспокойств (мир тюрок «шаманистов» и мусульман). Слова Терентьева о путеводном указании Петра I здесь знаменательны, заставляя вспомнить последний, «евразийский» период активности императора, предшествовавший вовлечению России в европейский расклад при его наследниках и вдохновлявший «птенца Петрова» И. Кирилова увидеть в приуральских и приаральских степях «Новую Россию».

IV

На этом фоне надо подойти и к вопросу об Индии. Очевидно, что Индия в это время – предмет раздумий авторов, уверенных, что борьба России с Англией уже развернулась, и для России речь может идти лишь об оптимальном варианте ее развертывания. Идея «угрозы» Индии со стороны Средней Азии для принуждения Англии к «хорошим отношениям» с Империей на Ближнем Востоке проскальзывала в записке Игнатьева Горчакову от начала 1860-х гг., предусматривавшей также союз с Ираном и усиление российской морской активности на Тихом океане. В литературе отмечается, что отправка в 1863 г. российской эскадры в США и принятие решения о соединении Оренбургской и Сибирской линий мыслились под влиянием Игнатьева Александром II и военным министром Д.А. Милютиним как ответ на английский демарш по поводу польского восстания [ИВПР 1997а, 97]. Однако для многих начинавшаяся «холодная война» не была очевидна. В 1864 г. и Горчаков, и Милютин верили, что среднеазиатское наступление ограничится примерно югом Казахстана, где следует «установить ... прочную, неподвижную границу и придать ей значение настоящего государственного рубежа» [там же, 100].

Даже после первых столкновений русской армии с Кокандом и занятия русскими Ташкента некоторые петербургские эксперты оставались убеждены, что «о занятии Кокандского ханства ... едва ли может возникнуть предположение не только теперь, но даже и в отдаленном будущем»; что «неприступные для военных экспедиций высоты ... делают невозможным столкновение в средней Азии русских и английских войск»; что говорить здесь можно только о «состязании торговых интересов» [Долинский 1865, 52–53]. Но в 1867 г. В.В. Григорьев твердо предрекает близкое столкновение России с Кокандом и Бухарой, снаряженных английским оружием (что и состоялось в следующем же году), и намекает на возможность применить к ней такие же меры. В 1870 г. Военный Совет уже прямо склоняется к тому, чтобы «умерить гордыню» Англии «с приближением русских войск к ее владениям в Индии» и занятием Бухары придать России «больше веса в решении Восточного вопроса» [ИВПР 1997а, 109]. «Сдерживание» Англии на Балканах и на Ближнем Востоке посредством «давления» на нее через Среднюю Азию становится, по сути, открыто проводимой политикой, во многом вопреки намерениям Горчакова.

Ясно, в таких условиях особое значение обретала тема «промежуточных пространств» между владениями России и Англии в Азии [Мартенс 1880]. С конца 1860-х между державами идут переговоры насчет нейтрального пояса, о чем особенно хлопочет Горчаков. Было очевидно, что буфер снизит действенность предполагаемого сдерживания, – и активность в этом плане Горчакова, сторонника «сосредоточения» России, стояла в прямой связи с его неприязнью к балканской ангажированности Империи. С занятием Россией Хивы и Коканда буферами были признаны подступы к Индии – Афганистан и Туркмения, причем каждая сторона была близка к аннексии своей части буфера. Если Горчаков стоял за нерушимость буфера, то Венюков, предрекая [Венюков 1875, 159] наступление Англии в Афганистане и занятие Россией Туркмении, отстаивал не

так буферность Афганистана, как его сравнительную независимость от России, которая была бы ему гарантирована даже в случае разрушения Британской империи в Индии [Венюков 1878, 21–22].

Противники идеи буфера нападали на нее с разных сторон. Генерал-майор Терентьев настаивал на том, что именно непосредственная уязвимость Англии в Азии заставит ее «два раза подумать», прежде чем начинать войну с Россией, если последняя не будет прямо угрожать английским интересам [Терентьев 1875, 233]. Но оставалось откровенно неясным, где тот рубеж, за которым уязвимость Англии перейдет в прямую угрозу – провокацию войны. Подчеркивая, что с российских позиций в 1875 г. границы Индии крайне трудно достижимы, хотя Россия и будоражит враждебных к Англии индусов своим соседством [там же, 259], Терентьев колеблется между боязнью увязнуть в афганской войне в случае перехода русскими границ этого государства и признанием: нейтральный пояс мешают «привязать» Англию к России в европейских делах [там же, 241; 264].

С иных позиций существование буфера подверг критике прославленный правовед Ф.Ф. Мартенс. Юрист-миротворец отстаивал уничтожение буфера как провоцирующего державы фактора дестабилизации. По его мнению, прямое соприкосновение на твердых рубежах усилило бы их взаимозависимость и в конце концов склонило бы к сотрудничеству [Мартенс 1880]. Впрочем, эту аргументацию могли бы принять и сторонники давления на Англию, вложив свой смысл в понятие «сотрудничества».

Оригинальность рассуждениям Мартенса придает мотив «азиатского страха» как фактора, обрекающего империю на сотрудничество. По его словам, если Англия одолеет Россию в Азии индийским (азиатским) войском, – это будет начало конца английской власти над Индией. Но, с другой стороны, если Россия перенесет войну на ниву Индостана и вызванное ею восстание сметет британское владычество, – что делать России в покоренной 200-миллионной Индии? А дестабилизировав Индию, удержит ли она сама свою Центральную Азию? [там же, 86 сл.] Апелляция к «азиатскому страху» была в какой-то мере понятна, например, Венюкову, предостерегавшему против усиления этнической розни в Империи по мере экспансии: избыток центрально-азиатских варваров по возможности следовало бы спихнуть на кого-нибудь другого – скажем, на Китай. В случае же разрушения британского господства в Индии взрывную волну должны сдерживать «младшие братья» России – афганцы и персияне.

Итак, Индия была воспринята как слабое звено в структуре Британской Империи как объект давления, который мог бы парализовать Англию в классическом Восточном вопросе. Итак, для политиков, представлявших себе Восточный вопрос в качестве вопроса «английского», он неизбежно должен был трансформироваться в вопрос «индийский» и в таком качестве рационализировать строительство «русского пространства» в Центральной Азии – причем, пространства, не обязательно охватывающего Индию как таковую.

То же самое и в текстах, где авторы от «сдерживания» Англии, ведущего в тупики взаимозависимости, прямо переходят к планам войны с нею, в том числе с прямым переносом действий на индийскую почву. Венюков [Венюков 1875, 2 сл.] выпускает брошюру, где заявляет, что «материковые земли английской Азии могут и должны быть рассматриваемы как театр войны, в которой шансы успеха во многом будут зависеть от того, как противники Англии ... сумеют воспользоваться физическими свойствами территории, приспособиться к ним и поставить англичан в невозможность оборонять обширную страну, ими захваченную, но чуждую и даже враждебную им по составу населения, а по отдаленности от самой Англии не могущую ожидать от нее больших подкреплений». Тут же он пишет «о путях из Индии на запад и север, которые по ходу политических

событий приобретают теперь такое существенное значение ... для Средней Азии, а следовательно и для нашего отечества» [там же, 169]. Через несколько лет, уже отставник и эмигрант, в памфлете против правительства Александра он напишет о том, что это «правительство поступило нелепо, пытаясь в 1870-х годах сблизиться с Англией ценою азиатских своих интересов ... Войну с Англией можно отсрочить, но избежать ее нельзя, и обязанностью русского правительства отныне становится готовить ... ее успех заключением прочных союзов с естественными врагами Великобритании, изучением ее положения в Индии и в колониях, созданием большого наступательного флота». Но при этом он уверяет, что Россия уже утвердилась в «пределах, которые, вероятно, останутся на большей части протяжения ее всегдашними пределами» [Венюков 1878а, 385; 386]. Неизбежная война за разрушение Британской Империи не должна быть войною за Индию, невыносимую для него в качестве российского владения.

Той же установкой отмечен, вероятно, самый известный из русских проектов прямого удара по Индии, выработанный в 1877 г. генералом М.Д. Скобелевым [Скобелев 1883]. Скобелев уверял, что с теми силами в Средней Азии, которые «наше правительство случайно скопило на здешней окраине ... можно нанести Англии не только решительный удар в Индии, но и сокрушить ее в Европе» [там же, 544]. Ранее, еще в 1871 г. он полагал в духе общего имперского курса, угрожая Индии, обеспечить «решение в нашу пользу трудного восточного вопроса – другими словами, завоевать Царьград своевременною, политически и стратегически верно направленною, демонстрациею» [Скобелев 1882, 122], но через шесть лет¹ он говорит уже об ударе по Индии, чтобы или уничтожить враждебную империю, или, по крайней мере, «парализовать сухопутные силы Англии для войны в Европе или же для создания нового театра войны от Персидского залива на Таврис к Тифлису, в связи с турецкими и персидскими силами, о чем уже с Крымской войны мечтают английские военные люди» [Скобелев 1883, 547]. Он призывает в случае быстро назревавшей русско-турецкой войны, ограничившись обороной на Дунае и в Азиатской Турции, предложить афганскому эмиру антианглийский союз и в случае отказа эмира разжечь в Афганистане гражданскую войну с вовлечением Персии. Предполагалось перебросить 30-тысячный российский конный корпус из Самарканда к Кабулу и оттуда «организовать массы азиатской кавалерии, которую во имя крови и грабежа направить в пределы Индии, возобновив времена Тимура!» [там же, 548]. Похоже, Скобелев вообще не планировал движение русской конницы далее Кабула, видя смысл операции в том, чтобы, провоцируя в Индии анти-английское «восстание», одновременно «всю Азию... поднять на Индию», превратив «сокровище британской империи» в сплошной ад. Скобелев был убежден, что Восточный вопрос (о проливах) неразрешим прямыми действиями на Балканах и Кавказе. В XX в. сказали бы, что наступление на Индию, притом не русскими, но спровоцированными Россией азиатскими силами, рационализировалось в формах «стратегии не прямых действий».

Реальный подступ к подобному сценарию наметился в 1878 г., в первой половине, на протяжении которой в имперских кругах мушкетировалась неизбежность войны с Англией (в перспективе подготовки к этой войне Александр II дал согласие на Берлинский конгресс) [Милютин III, 27; 32; 42; 68]. В это время

¹ Приводимая в рукописи цитата («решение в нашу пользу трудного восточного вопроса, другими словами, завоевать Царьград, своевременною, политически и стратегически верно направленною, демонстрациею») – не из текста Скобелева 1871 г. (как у Цымбурского в его тексте), а из письма Скобелева от 9 августа 1876 г. То есть разница во времени между двумя текстами Скобелева не 6 лет, а всего 5,5 месяца. Автор по ошибке взял дату (1871 г.) из последующего документа в этой публикации «Исторического вестника» («Записка о занятии Хивы»). *Примеч. ред.*

туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауфман, один из самых активных «атаманов» центрально-азиатского наступления, планирует русский протекторат над Афганистаном. Посланный в Кабул эмиссар Кауфмана, полковник Столетов заключил с эмиром Шир-Али договор, обязывавший Россию помочь Афганистану в войне против Англии [Терентьев 1906, 451–452].

Но к осени того же года, когда двора, наконец, достигла просьба Шир-Али о русском покровительстве, Берлинский договор был уже заключен. Реакцией на эту просьбу стал страх Горчакова и Милютинина – как бы такая сделка не дала повода англичанам к занятию Кабула. Петербург предал новоиспеченного союзника, бежавшего к Кауфману и вскоре умершего, а Кабул был-таки занят англичанами, что дало России моральное право окончательно демонтировать буфер, вторгнувшись в Туркмению. Похоже, контроль над Афганистаном был тем максимумом, дальше которого в глазах российских военных не могло простираться тотальное поле Империи. Другое дело, что выход на этот максимум увязывался с дестабилизацией Индии, которая, однако, могла мыслиться без прямого вовлечения России.

Итак, гео-идеологический импульс к формированию особого пространства России вне коренной Европы толкал русских к конфронтации с основной силой, представлявшей Западную цивилизацию за пределами ее опорного ареала? Иными словами, к формированию из России и Англии новой конфликтной системы – евроазиатской, генезис которой был рационализирован ставкой на «непрямые» решения Восточного вопроса и которая в конце концов протянулась по югу Евро-Азии от Балкан до Тихоокеанского приморья гигантской дугой «холодной войны» (знавшей, как всякая холодная война, периоды обострения и разрядки). Логика этой борьбы подчиняла себе, иногда парадоксальным образом, политику, проводившуюся на тех или иных частных направлениях, в том числе, как я уже говорил, и решение о продаже Аляски. Обычное объяснение этого шага трудностями удержания Русской Америки под американско-английским натиском не учитывает комплекса мотивов, диктуемых логикой складывающейся евразийской конфликтной системы. Замечательная работа Н.Н. Болховитинова [Болховитинов 1990] позволяет восстановить эту логику.

Еще весной 1853 г., когда оставались надежды привлечь Англию к разделу Турции, Муравьев-Амурский писал Николаю : «Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России, если не владеть всей восточной Азией, то господствовать на всем азиатском побережье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам ... Но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами» [там же, 92]. За САСШ признавалась роль гегемона Америки и Карибского бассейна: на этом пути им предназначалось – выбить из Нового Света Англию. В 1850–1860-х гг. Соединенные Штаты, казалось, шли навстречу этим российским расчетам. В январе 1854 г., когда противостояние России с Англией стало очевидным, Вашингтон через акт фиктивной покупки взял под защиту Русскую Америку. Президент Ф. Пирс прямо склонялся к мысли о вступлении Штатов в войну на стороне России [там же, 96]. В 1859 г., когда началось обсуждение плана реальной продажи колоний, посол России в США Э.А. Стекло утверждал: «Если Соединенные Штаты станут обладателями наших владений, британский Орегон окажется стиснутым американцами с севера и юга и едва ли ускользнет от их нападений» [там же, 114]. 1860-е и 1870-е становятся пиком русско-американского сближения. Столь разные авторы, как Герцен, Фадеев, Венюков, Терентьев, твердят о союзе этих держав: американский визит россий-

ской эскадры в 1863 г. одновременно защищал воюющий Север от вмешательства Англии на стороне южан и грозил Англии возмездием за демарш в пользу мятежных поляков. Роль Англии в развитии двух мятежей сближала Петербург с Вашингтоном. В глазах американской общественности убийство Линкольна и покушение на Александра II объединялись общей схемой «террор против лидеров-освободителей». Визит морского замминистра Фокса к Александру с приветствиями по поводу «спасения от каракозовского выстрела» становится звеном в формировании союза; следующим оказывается продажа Аляски. Как предполагал в те годы К. Маркс [Маркс XXXII, 542], «янки благодаря этому отрешут с одной стороны Англию от моря и ускорят присоединение всей британской Северной Америки к Соединенным Штатам. Вот где собака зарыта!»

Отказ России в 1810-х гг. от присоединения Гавай сделал беспочвенными попытки конституировать север Тихого океана в качестве закрытого «русского моря». После этого отказ от Форта Росс был неизбежен и ограничил русское присутствие на Тихоокеанском западе. С присоединением междуречья Амура и Уссури Империя обретала на этом океане другую, значительно более южную базу, прямо связанную в отличие от Русской Америки с массивом евроазиатских южных земель. Через полвека Г.В. Вернадский будет скорбеть о том, что выход русских в Тихий океан через устье Амура не был использован для подпитки Русской Америки притоком переселенцев [Вернадский Г. 1914]. Напротив, для политиков 1860-х он снизил ее стратегическую ценность. Возможность превратить часть Тихого океана в закольцованное морскими базами «русское море» была утрачена поколением раньше; оставалось попытаться превратить запад океана в союзное России пространство, тем самым предотвратить эксцессы вроде английского нападения в 1854 г. на Петропавловск-Камчатский и обеспечить себе на этом направлении прикрытие для активных действий Империи по дуге русско-английского евразийского противостояния. Права С.В. Лурье в том, что Россия выращивала Соединенные Штаты, как и Иран, на роль региональных агрессоров, подрывающих британские позиции и тем самым призванных облегчить русским нажим на Индию и оттягивание английского внимания от черноморских проливов. Аляска продавалась неформальному союзнику в видах упрочения союза. Другое дело – при этом не были учтены масштабы собственно американской активности на Тихом океане, обозначившейся уже с 1850-х плаванием эскадры адмирала М. Перри в Японию и принуждением последней к Ансэйским договорам. Россия поддерживала САСШ как панамериканскую и карибскую, но не как пантихоокеанскую и не восточноазиатскую силу. В общем, это был просчет, очень сходный с тем, какой позднее потерпели германские геополитики, отводя Соединенным Штатам роль строителей Панамерики, не вмешивающейся в судьбы восточно-азиатской «Высшей зоны процветания», создаваемой Японией. Тихоокеанский консенсус дал трещину уже в 1877–1878 гг., когда САСШ в перспективе русско-английской войны резервировали нейтралитет, воздержавшись от предоставления базы российской эскадре, направляемой для угрозы Британской Канаде. Впрочем, на начало 1890-х Штаты в российских верхах трактовались на правах союзника. В 1893 г. в публикации Министерства финансов, обосновывавшей строительство Транссиба, в числе прочих причин для этого шага указывалось установление контакта со Штатами как державой, которую сближает с Империей «солидарность ... политических интересов», несмотря на их конкуренцию на хлебных рынках [Сибирь 1893, 308]. Через всю нашу первую евразийскую фазу от Герцена до Витте прошло представление о Вашингтоне как силе, содействующей созиданию «русского дома» на пространствах внеевропейского Старого Света, – представление, подорванное по-настоящему лишь американской ролью в русско-японской войне.



В рамках евразийской бинарной системы классический Восточный вопрос оказался сцеплен с судьбами таких стран и территорий, к которым прежде он не мог иметь никакого касательства. Движение в Среднюю Азию заставило Россию в конце концов под лозунгом защиты Китая вмешаться в его отношения с мятежными мусульманами Восточного Туркестана. В 1869 г. она отказывается признать Кашгар нейтральной зоной и фактически заполняет его северную часть своими товарами. Английская реакция не замедлила. Терентьев [Терентьев 1876, 182 сл.] отмечает: «Англичане теперь зачастили в Кашгар; и мы не без удовольствия видим, что есть и еще один путь (к Индии. – В.Ц.): чрез перерыв Каракорумского хребта от истоков р. Каракама к Ладаку». Любые территории, ведущие к «ахиллесовой пяте» Англии, становятся предметом внимания русских. Если Венюков радуется возможности часть тюрок и монголов спихнуть на Китай как империю слабую и якобы не опасную для России, то для Терентьева мусульманские восстания по западной кайме Китая – хороший повод для России выдвинуться прямо на стык Китая, Индии и Среднего Востока. По случаю мусульманских волнений в Урумчинском округе он находит «весьма вероятным, что нам придется и здесь выступить навстречу китайской власти и покорить для нее Урумци, как это сделано уже с Кульджею» [там же, 79]. Он готов даже говорить, что в Китайском Туркестане «готов разыгаться самый интересный эпизод нашего, исторически необходимого, исторически неуклонного движения на Восток» [там же, 62]. В 1870-х Потанин предпринимает свои экспедиции в Монголию и Тибет. В 1881 г. после кризиса в отношениях с Китаем по поводу участия «умиротворенной» русскими Кульджи Мартенс публикует осуждение европейских и особенно английских бесчинств в Китае, якобы по недоразумению навлекающих китайский гнев и на русских. Миссией России объявлено – быть защитницей Китая.

Прочитывается внутренняя континентальная кайма всех приморских цивилизационных платформ Евро-Азии: миру предстает Россия, вобравшая почти все земли между нею и коренным Китаем, Индией, иранским Средним Востоком.

В лучшей работе Терентьева «Россия и Англия в борьбе за рынки» [Терентьев 1876] намечается политическая программа, которая по-настоящему станет на повестку дня после Берлинского конгресса. Терентьев формулирует задачи большой игры двух неазиатских сил в Азии: перекрыть ввоз товаров из Индии; в дополнение к этому отменить закавказский облегченный транзит, открывающий Англии путь в Среднюю Азию через Кавказ; ввиду того, что Бухара и Хива «сделались передовыми складными пунктами для произведений соперничающей с нами нации», – либо перейти к силовому, «непосредственному подчинению среднеазиатских рынков», либо, в крайнем случае, насадить здесь собственную промышленность, способную подавить индийский привоз. Терентьев, кажется, с наибольшей отчетливостью обозначил положение Средней Азии как «прекрасного этапа, станции, где мы можем отдохнуть и собираться с силами», готовясь к войне с Англией [там же, 183]. Намного отчетливее, чем И.В. Вернадский, он понял, что борьба России с «владычицей морей» может вестись под лозунгами «защиты континента», но также, что эта война не обязана вестись только в близкой англичанам стихии, что Россия в ней может опереться на континент как источник своей силы. «Все игроки, опиравшиеся на море, на флот, побеждены “владычицей морей”. Мы опираемся на сушу, на пехоту – нам трудно пробиваться вперед, но зато трудно и возвращаться, а потому резоннее всего оставаться там, куда привела нас судьба, и постараться стать там твердою ногою. Игра наша далеко еще не началась».

Для Терентьева, Англия – постоянный враг, «относительно Англии мы, по крайней мере, гарантированы от неожиданностей, ибо всегда должны ожидать

противодействия своим интересам» [там же, 210]. Задачи развития русского флота на Черном море, помимо всего прочего, определяются и близостью выходов из этого моря к Суэцкому каналу: натиск пехоты с севера на евро-азиатское приморье (опять Индия!) надо поддержать морским присутствием на торговых линиях, ведущих в Индийский океан, особенно мимо Суэца. «Истинные устья Днепра и Дона не в Херсоне и Таганроге, а в Дарданеллах. ... С прорытием Суэцкого канала Черное море приобрело еще и то значение, что Россия стала ближе к Индии, чем Англия – мы, значит, выиграли больше. Рано или поздно нам, вероятно, придется перенести центр тяжести на юг. Киев как столица во многих отношениях лучше Петербурга и Москвы» [там же, 246].

Этот дрейф на юг мыслится всецело вне «коренной» Европы. Более того, трактуя объединенную Пруссией Германию только как балтийскую силу, Терентьев ей готов полностью уступить гегемонию на Балтике. «Конечно, за кусок земли, прилегающий к Мраморному морю, нам, может быть, придется отдать часть балтийского побережья, но тут и колебаться в выборе не следует» [там же]. Терентьев сознает, что при новых условиях Европы, с возвышением ее нового восточного центра в Германии Восточного вопроса не решить без участия Берлина, – и в то же время он полагает, что это участие сведется к балтийской сделке, как если бы речь шла о доимперской Пруссии. Австрия вообще выпадает из его поля зрения. В основном же этот вопрос для него стоит «в прямой зависимости от расстояния между русскими и английскими передовыми постами» [там же]. Натиск на Индию с севера – инструмент овладения проливами, но овладение проливами выведет российский военный и торговый флот к Суэцу, всё в тот же Великий Океан, так что Южная Азия будет зажата между топотом пехоты с севера и торговыми русскими флагами по морской окраине: «вслед за штыком в Азию торжественно вступает и наш шестнадцативершковый аршин» [там же, 254]. Терентьев остро ощущает внутреннюю системность отношений на всех участках огромной евразийской полосы, где идет русско-английская борьба. Но он совершенно не чувствует такой же системности и напряженности в балтийско-черноморской, восточноевропейской полосе, на которой сосредоточен взгляд Р.А. Фадеева. Он считает, что Германии можно спокойно отдать Балтику, и это никак не скажется на ситуации балканской и черноморской. В его глазах, проливы входят в одну полосу с Ираном, Суэцем, Индией, даже с Восточным Туркестаном, – но вовсе не с Балтикой, не с Польшей, не с Богемией, не с Галицией. В свою очередь, Фадеев, страшась расточения России в Туране, практически не воспринимает «английской», то есть евразийской, проблематики. Эти два видения дополняют друг друга: где у одного автора – фокус российских задач, у другого – глухой хинтерланд. Так обозначаются два лика российской геополитики на начальной стадии первой евразийской фазы – именно на той стадии, что пролегла между Парижским конгрессом и Берлинским миром.

Собственно это – та ситуация, где «евроазиатская» линия нашей политики начинает определяться как прогерманская, а линия балто-черноморская как антигерманская, и обе они драматически сталкиваются в определении главного российского противника на Балканах и на Черном море: Британская Империя или Великая Германия, Пан-Европа. Но об этом подробнее – дальше.

V

Данилевский как автор «России и Европы» – фигура, порожденная этим двусмысленным временем. С первых страниц книги очевидно, что ее концепция сложилась под влиянием «крымского шага», пережитого как столкновение чужеродных друг другу сообществ России и Европы. Разбираемое вначале принципиальное различие реакции Европы на российскую экспансию в Подунавье

в 1853 г. и на австро-прусскую агрессию 1864 г. против Дании приводят к выводу: в последнем случае речь идет о конфликте *внутри* Европы, а в первом – о столкновении цивилизаций, различных по своим основаниям. За этот вывод и основанную на нем программу Данилевского иногда называют создателем теории борьбы цивилизаций. Однако ему были несомненно известны построения Духинского – об этом говорит его фраза [Данилевский 1991, 28] насчет русского правительства, «которое, по отзывам поляков, указами создает русский язык и научает ему своих монгольских подданных».

Существенно другое. О столкновении в европейском пространстве двух цивилизаций ярко писал Тютчев, тема России как «христианского Востока» была камнем преткновения между Чаадаевым и славянофилами, в Германии 1840-х о России как наступающем на Европу «особом мире» трактовал Я. Фальмерайер. Что разводит с ними со всеми Данилевского – это восприятие двух цивилизаций не как противостоящих принципов жизни на едином пространстве и его организации, но в качестве двух отдельных, лишь формально соприкасающихся и в силу этого конфликтующих на своих рубежах геокультурных пространств. Собственно, эта новая постановка вопроса видна в самой заглавии «России и Европы» в отличие от тютчевских «России и Запада». Тютчев рассуждает о «двух Европах» – России и Западе – как о *двух мыслимых проектах* единой Европы. Данилевский видит Россию вне Европы и возлагает на нее миссию создания особого неевропейского политического и цивилизационного пространства, способного *потеснить* пространство европейское, но отнюдь не стремящегося поглотить этот чужеродный мир.

Интересно, что по своему интеллектуальному аппарату Данилевский – типичный европеец третьей четверти XIX в., свободный от тех «средневековых» моделей, которые столь явственны у Тютчева и вновь проступят у Вл.С. Соловьева. Призывы к политике либеральной и вместе с тем национальной; восхищение Бисмарком, Кавуром и Гарибальди; пафос национальности как единственной законной основы существования государства, трактуемого организмически; почерпнутое у Г. Рюккерта учение о «культурно-исторических типах», мыслимых опять же в виде суперорганизмов; при декларируемой неприязни к Дарвину четко воспринятое представление о борьбе этих суперорганизмов за жизнь и пространство; налет расхожего гегельянства на глаголении насчет «мелкой текущей дребедени», каковую история предоставляет «текущему производству дипломатии» в отличие от «великих вселенских решений, каковые провозглашает она сама безо всяких посредников, окруженная громами и молниями, как Саваоф с вершины Синая»; наконец, навеянное успехами сравнительного языкознания, также проникнутого в те годы органицистскими метафорами и схемами (А. Шлейхер), отождествление «культурно-исторических типов» с семьями языков. Отчасти из-за этого последнего принципа, а отчасти из-за его нарушений у Данилевского возникает масса натяжек. Первый случай лучше представляют: разделение цивилизации римской и греческой; исключение из «новосемитской» мусульманской цивилизации; сложности, связанные с двухкомпонентностью романо-германской Европы, похоже, склоняющие Данилевского видеть ее движущую силу исключительно в германизме; второй случай можно проиллюстрировать выделением евреев в особый тип, оторванный от «древнесемитского» явно по религиозному признаку. Все это приметы европейской, в основном немецкой, отчасти английской интеллектуальной «почвы» – именно той, на которой позже сложится антропогеография Ратцеля и из которой разовьется германская геополитика. Этот заемный аппарат в условиях «послекризисной» России используется для выработки геостратегии, как бы встроенной в долгосрочные цивилизационные тенденции и их обслуживающей.

Доктрина «культурно-исторических типов» как высших форм человеческой общности, предельно полно выявляющих в разных аспектах и комбинациях потенциалы человеческой природы, позволяет провозгласить принцип лояльности к своему культурно-историческому типу (цивилизации) высшим по сравнению с приверженностью своему государству. Введенная же Данилевским якобы универсальная схема эволюции этих типов (этнографическая фаза, фаза политической самостоятельности, фаза расцвета культуры, ее полного самовыражения) вместе с отождествлением цивилизации и языковой семьи становятся основанием для прямых политических выводов. Каждая языковая семья имеет шанс развиваться в цивилизацию, если все ее члены добьются политической независимости и перейдут к выявлению своих культуротворческих способностей. Поэтому, коль скоро народ, принадлежащий к некоей языковой группе, достигнет независимости и создаст государство, его первое призвание состоит в том, чтобы всеми средствами, включая военные, обеспечить независимость другим народам той же языковой группы и тем самым создать предпосылку для новой цивилизации. Говорить о развитии такой цивилизации к высшим ее формам бесполезно, пока одни из народов данной семьи пребывают под чужим гнетом, а добившийся независимости – вынужден в одиночку противостоять чужеродному миру, борясь за простое выживание. Итак, наличие языковой семьи – абстрактная возможность цивилизации, реальной же возможностью она становится через политическую борьбу. Вопрос о России как носительнице специфической цивилизации оказывается на данном этапе вопросом чисто политическим, другие же его аспекты за несвоевременностью могут быть отодвинуты на второй план.

Отсюда три типа установленных Данилевским исторических ролей для народов. Во-первых, это народы – создатели культурно-исторических типов, прошедшие все ступени их становления. В своей экспансии и самоутверждении эти «организмы» неизбежно вступают между собой в борьбу [там же, 305]: «Народы, которые принадлежат к одному культурно-историческому типу, имеют естественную склонность расширять свою деятельность и свое влияние насколько хватит сил и средств ... Это естественное честолюбие необходимо приводит в столкновение народы одного культурного типа с народами другого, независимо от того, совпадают ли их границы с отчасти произвольно проведенными географическими границами частей света».

Вторая роль – это народы – «Бичи Божьи», разрушители старых цивилизаций (очевидно, что эти народы могут добиться политической самостоятельности, но отнюдь не обязательно они разовьются в цивилизацию). Наконец, в-третьих, «народы – этнографический материал», который ассимилируется со строителями культурно-исторических типов и увеличивает плодотворное разнообразие последних. Народы, не достигшие государственной фазы, не должны проявлять претензии «на политическую самостоятельность, ибо, не имея ее в сознании, они и потребности в ней не чувствуют и даже почувствовать не могут». Их удел – «сливаться постепенно и нечувствительно с тою историческою народностью, среди которой они рассеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличению разнообразия ее исторических проявлений» [там же, 26]. Впрочем, во многих случаях Данилевский пользуется «принципом Пестеля», отстаивая адаптацию Россией тех народов, которые, когда-то имея политическую независимость, не смогли ее удержать (например, закавказских христиан). Впрочем, добавлю от себя, почему бы нашему автору не допустить, что народы, неспособные отстоять свою независимость, тем самым обнаруживают свое бессилие удержаться на уровне «государственной фазы», и для них «естествен» откат в «этнографическую фазу», а значит, и превращение в этнографический материал для соседней цивилизации? Кстати, о праве народов «этнографической фазы»

на свою культуру, о праве их не становиться для кого-либо строительным «материалом» Данилевский вообще не задумывается: о каком бы то ни было праве он начинает трактовать с момента обретения народом политической воли и силы – лишнее подтверждение того, что «государственная фаза» является основным интересующим его звеном цивилизационного процесса.

В своих раздумьях Данилевский приходит к идее, несколько предвосхищающей постулат «комплиментарности» Л.Н. Гумилева, говоря о «неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов» [там же, 52]. Он ссылается на то, как «хорошо уживаются вместе и потом мало-помалу сливаются германские племена с романскими, а славянские с финскими... Германские же со славянскими, напротив, друг друга отталкивают, антипатичны одно другому». «Инстинктивное» притяжение и отталкивание им учитывается исключительно как фактор, содействующий или мешающий интеграции народов в утверждающийся чужой культурно-исторический тип, определяющий меру их пригодности к тому, чтобы пойти на этнографический материал, увеличивающий политическую мощь и внутреннюю дифференцированность этого типа.

И так везде: политическая точка зрения преобладает, когда речь заходит об этнической самобытности. Достаточно прочесть его раздумья о том, что этнографическая обособленность оберегает народ от привязки к чужеземной моде и к иностранной промышленности и как в отсутствие самобытного уклада его приходится заменять политикой, отстаивающей экономическую независимость. Или о том, как «европейничанье» русских замедляет политическую интеграцию народов Империи, позволяя им вместо русификации с ее неизбежными политическими следствиями – попросту европеизироваться, сохраняя в своем самосознании дистанцию от русских и постепенно приходя к идее государственной независимости при общеевропейском культурном знаменателе. Этот политико-прагматический подход к культурным и цивилизационным проблемам полностью возобладал у Данилевского, когда он прямо заявил, что вопрос о принадлежности или непринадлежности России к Европе его интересует исключительно как проблема международно-политического расклада.

Суверенность цивилизации для него мыслима лишь как суверенность политическая, как контроль группы народов, говорящих на близких языках, над пространством, гарантированным от вмешательства народов иной цивилизации. Иначе говоря, речь идет о том, что будет названо в Германии суверенным Большим Пространством. Данилевский прямо требует «доктрины Монро» для России; позднее ее предтечей он объявит Пушкина, сказавшего европейцам: «спор славян между собою... / Вопрос, которого не разрешите вы». Русская «доктрина Монро» предполагала бы невмешательство европейцев в курируемые Россией славянские дела, но, вместе с тем, по примеру американского прообраза – готовность России к военному вмешательству в случае конфликта славянского народа с народом другой цивилизации (именно так, как произошло в августе 1914 г.).

Позднее евразийцы с их идеей «месторазвития» цивилизаций ссылались на Данилевского как своего учителя, цитируя его слова об особых географических «поприщах» культурно-исторических типов. Но надо помнить, что к этому тезису Данилевский прибегает в очень специфическом случае, стремясь отсечь европейскую цивилизацию от цивилизаций античных, греческой и римской, ссылаясь на то, что «естественным» пространством для последних была вовсе не Европа, а перипл Средиземноморья, включая его африканское и азиатское побережье. Существеннее всего, что он оказался совершенно не готов применить тот же критерий к России. Подвергнув, как те же евразийцы, резкой критике миф Уральского хребта как «природной» европейско-азиатской

границы, вводящей часть России в Европу, он не смог указать какого бы то ни было другого физико-географического предела Европы. Более того, он вообще отказался рассматривать Европу как естественно-географическое явление (хотя определение Европы как «полуострова» Азии уже бытовало в его время; в частности, оно представлено в «Космосе» А. фон Гумбольдта). Вместо этого он ее определил исключительно как ареал Азии, охваченный романо-германской цивилизацией, то есть как явление геокультурное, не пытаясь как-то укоренить европейскую и российскую цивилизации в их особенной «почве» (собственно, даже применительно к античности он нарушил критерий «поприща», разделив ее по языковому признаку на две цивилизации без ясных границ).

Причины понятны. Данилевский, подобно немцам-индоевропейцам, твердо исповедовал мысль о «культурородной силе леса», опирая славянскую цивилизацию на тот же евроазиатский лесной пояс, в котором сложилась и западная цивилизация. Степь – пристанище кочевников – на его взгляд, есть зона, для цивилизаций вообще неподходящая. Экспансию Империи в Средней Азии он ставит невысоко, иронически оценивая ее как «потчевание европейской цивилизацией пяти или шести миллионов кокандских, бухарских и хивинских оборванцев, да, пожалуй, еще двух-трех миллионов монгольских кочевников»; стратегическое значение тихоокеанского побережья ставит очень невысоко, а колонизация на Амуре, в его глазах, столь же сомнительна, как эпопея с только что проданной Русской Америкой (все это страшно противоречит выдвигаемым им далее притязаниям на долю славянской цивилизации в мировом разделе). Итак, областью его первостепенных интересов оказываются земли Евро-Азии, непосредственно прилегающие к коренной Европе, то есть населенная в основном славянами балто-балкано-черноморская полоса, которую должна была сразу же охватить русская «доктрина Монро». Вопрос о естественных поприщах двух цивилизаций лишился смысла, коль скоро они мыслились прямо сталкивающимися на Европейском полуострове и Средиземноморских акваториях.

Отсюда и понимание Данилевским Восточного вопроса, который в его глазах есть борьба между славянским и романо-германским культурно-историческими типами. Вероятный исход этой борьбы должен доставить «совершенно новое содержание исторической жизни человечества». «Восточный вопрос касается всего славянства, всех народов, населяющих европейский полуостров и не принадлежащих к числу народов германского и германороманского племени, – не принадлежащих следовательно к Европе в культурно-историческом смысле этого слова». «Восточный вопрос», в свою очередь, есть порождение древневосточного вопроса, заключавшегося в борьбе римского начала с греческим [там же, 306, 329]. Противостояние двух цивилизационных полюсов античности находит продолжение в столкновении двух цивилизаций на полуострове Европы. Борясь за независимость славян, Россия бьется за суверенность своей цивилизации, будущее самовыявление и расцвет которой только и смогут оправдать существование России как силы, волей-неволей сдерживающей распространение европейского влияния вглубь материка. Претензии России на европейское культуртрегерство в Азии смешны: не будь ее, Запад с этой задачей справился бы куда лучше. Без борьбы за славянство Россия для Данилевского, как и для Р. Фадеева, была бы каким-то «привидением прошедшего», не имеющим иной цели, кроме выживания, так что «ей действительно ничего бы не оставалось, как сбросить скорей с себя свой славянский облик. Это было бы существование без смысла и значения, следовательно, в сущности, существование невозможное» [там же, 318].

Как и Тютчева, Данилевского мучит страх перед возможностью «недоотягивания» России до своего назначения, впадения ее в ирреальное «абортивное» бытие. Но разница между этими мыслителями велика. Для Тютчева Россия



s'avorterait, если не реализует новый европейский порядок, не выстроит «другую Европу». Порожденный в условиях «европейского максимума» России (фазы С первого стратегического цикла), этот проект был отмечен пафосом «последней битвы», решающей мировые судьбы. Поэтому поэт-политик настойчиво отмечает моменты неблагополучия обществ, дающие шанс для удачного наступления России, которая якобы станет «сама собой», лишь истребив «принцип бытия» Западной Европы. Взгляд Данилевского – иной. Борьба цивилизаций, даже выливающаяся в открытую войну, желательна и для него – но лишь как средство, пробудив славянское самосознание, сформировать Всеславянский союз – гроссраум новой цивилизации. Если Россия и может упустить шанс, то не шанс переустройства Запада, а исключительно шанс своего собственного выхода в фазу цивилизационной зрелости, якобы недостижимую без общеславянской независимости (постановка вопроса, несколько напоминающая позднейшие споры о возможности или невозможности построения социализма и коммунизма в одной стране). Отмечая на Западе кризис, вызванный пролетарской угрозой, – «кимвры и тевтоны у ворот Рима», «новые Мариин», военные диктатуры и т. д., – Данилевский, однако, не думает, как Тютчев, о «взрыве» Европы и ее сдаче перед славянским напором. Он готов даже признать западную культуру вошедшей в стадию максимального плодоношения. Но ссылка на якобы общий принцип «максимального действия энергии после того, как ее источник уже угас», позволяет ему утверждать: «Солнце, взрастившее эти плоды, уже прошло свой пик», – время благоприятно для политического возвышения новой цивилизации. Иначе говоря, он думает не о включении Запада в «Россию будущего», но об условиях непобедимости славянства, если бы оно пожелало образовать суверенный гроссраум.

Пафос лояльности перед своей цивилизацией доходит у Данилевского до разительных высот. По его оценке, истинное богатство цивилизации возможно лишь при относительной независимости ее народов друг от друга. Но раздробленность цивилизации уменьшает для нее возможности отпора внешним угрозам. Поэтому в зависимости от размера внешней опасности жизнеспособная цивилизация может иметь вид либо федерации, либо союза конфедераций, либо устойчивой международной системы. Для Европы, развившейся из средневекового христианского мира в надежно обособленное на своем полуострове сообщество государств, естественная структура – международная система, регулируемая балансом сил. Для славянской цивилизации гарантией безопасности может быть лишь гегемония России. Но парадоксальность этой гегемонии в том, что любое насилие России над меньшими членами союза, любая попытка слишком сильной интеграции может дестабилизировать союз и дать Европе повод вмешаться в его дела. Всеславянский союз и Россия как его гегемон оказываются заложниками поведения малых государств с его западной периферии – с первой линии межцивилизационного фронта. Залогом устойчивости союза может быть только общая опасность и успехи пропаганды, добивающейся поглощения русского, польского или чешского честолюбия – честолюбием общеславянским (преданностью своей цивилизации и ее Большому Пространству) [там же, 388]. Все интересы России должны сосредоточиться на благоустройстве и обороне пространства, охваченного «русской доктриной Монро». Итак, Европе, регулируемой балансом сил, должна противостоять тесная славянская федерация, однако всецело зависящая от поведения ее прифронтовых народов и потому требующая постоянных жертв от русских.

Данилевский не просто обрушивается, подобно Погдину, на политику императоров, тративших силы России на борьбу с европейскими революциями. Не менее жестока его критика в адрес усвоенной Россией с XVIII в. политики поддержания европейского баланса. Он силится доказать (с большими натяж-

ками), что эпохи прочного европейского равновесия были временами бурного европейского наступления западных держав на неевропейские народы. Эта гипотеза очень слаба, поскольку не учитывает, что заморские империи, которые с XIV по XVII вв. создавались в основном государствами, игравшими тогда второстепенную роль во внутреннем балансе Европы (Венецией, Нидерландами, Португалией, Англией), а единственное исключение – колониальная империя Испании – противоречит тезису Данилевского, ибо она возникла в первой половине XVI в. в пору жесточайшей борьбы Габсбургского блока с Францией. В лучшем случае эта модель частично описывает динамику XVIII – первой половины XIX в., когда важнейшим фактором европейского баланса становится Англия с ее колониальными интересами. Однако, очень шаткая применительно к прошлым векам модель позволяет Данилевскому вывести точный прогноз на близкое будущее: наступающее к 1860-м с объединением Италии и Германии (и вполне утвердившееся после предвидимой им франко-прусской войны) относительное равновесие еще не разделенной на союзные блоки Европы больших национальных государств, по этому прогнозу, должно обернуться их экспансией за пределами Европы (что и впрямь проявилось в колониальной дележке мира последней четверти XIX в.).

Большое равновесие на Западе, по Данилевскому, опасно не только для человечества вообще, но и конкретно для России. Лишь явное нарушение баланса, появление в Европе сильного претендента на гегемонию притягивает к России все враждебные ему режимы, так что сам претендент оказывается вынужден ее задабривать. (Ярчайшим примером Данилевский полагает Тильзитский мир, якобы открывавший возможности, коих Россия не смогла использовать.) Напротив, в периоды равновесия, когда энергия Запада выплескивается вовне, России легко стать объектом агрессии (как в Крымскую войну). Отсюда вывод, что в интересах России поддерживать продолжительное, но не слишком устойчивое неравновесие на Западе, используя его для строительства славянского пространства. В условиях 1860-х выбор России был очень ограничен. Она могла бы поддержать западный центр Европы – Францию Наполеона III, но как мы уже помним, российские авторы не без оснований подозревали этого императора в попытках воскресить политику Людовика XV, используя германские государства как стражей против России. Данилевскому периода «России и Европы» казалось соблазнительней поддержать Пруссию в собирании нового германского центра Европы вокруг Берлина и побудить ее к разделу Австрии – необходимому условию славянского гроссраума. Как приманку он готов был уступить пруссакам якобы все равно недостижимую для России балтийскую гегемонию, причем возрастала бы уязвимость Империи со стороны Балтики и Запада. Однако Данилевский возлагал надежды на леса и болота Северо-Западной России, на сезонное оледенение Балтийского моря и обоюдоострый для России и Пруссии польский фактор.

Эта модель изобилует концептуальными ляпсусами. Жертвовать Балтикой было естественно для Терентьева, видящего Восточный вопрос в рамках «вопроса английского», – ситуации, сложившейся по ходу русско-английского противостояния на фронте от Балкан до Кашгара, с продолжением на Тихом океане. Но Данилевский как бы игнорирует этот фронт, концентрируясь на том же пространстве Балто-Черноморья, что и Р. Фадеев, но в отличие от Фадеева игнорирует системное строение Балто-Черноморья, которое должно было ориентировать и впрямь ориентировало новый германский центр на меридиональное развертывание Империи (что отлично ухватил Фадеев). Данилевский совершенно не считает с реальной возможностью того, что поднимающийся лидер Европы способен достичь и такого могущества, когда у него будет велик соблазн разделаться с Россией как сохраняющейся надеждой его европейских

недрузгов. Данилевский не видит, что неустойчивость Тильзитского порядка практически сделала его проводником наполеоновского вторжения в Россию. А не видит потому, что реальная политическая динамика начала XIX в. в его глазах заслонена мифом, инспирированным реальностью иного порядка – реальностью системы «Европа – Россия» как таковой.

Это типичный для евразийской фазы нашего стратегического цикла миф о «необходимости» России потенциальному гегемону Запада («первому Риму») в ее роли «второго Рима», который поддерживал бы эту гегемонию, дружественно для нее контролируя пространства к востоку от «коренной» Европы, каковы бы она сама якобы не может удержать под своим прямым влиянием. «Второй Рим» – одна из трактовок положения России в евразийской интермедии ее стратегического цикла, когда элементы бинарной метасистемы «Европа – Россия» тяготеют к предельному дистанцированию друг от друга. Но есть и другая трактовка положения России в данной фазе: и ее мы тоже найдем у Данилевского, когда он начинает выводить конкретные задачи для Империи.

Программа-минимум Данилевского проста: государство «достигает полного роста, только когда соединит воедино весь тот народ, который его сложил, поддерживает и живит его (в этот русский народ он включает и западных украинцев-галицийцев. – *В.Ц.*); когда оно сделалось полным хозяином всей земли, населенной этим народом, то есть держит в руках свои входы и выходы из нее, устья рек, орошающих ее почти на всем протяжении их течения, и устья своих внутренних морей... Не надо еще, говоря о пространстве России, забывать и того, что она находится в менее благоприятных почвенных и климатических условиях, чем все великие государства Европы, Азии и Америки, что, следовательно, она должна собирать элементы своего богатства и своего могущества с большего пространства, нежели они» [там же, 377]. Как уже сказано, под словами об «устьях внутренних морей» Данилевский не может понимать Зунда. Прибалтика для него – труднопроходимый край, слабо связанный с Россией, а вопросы безопасности Петербурга его мало волнуют, поскольку он не видит в этом городе естественной российской столицы. Но он тверд в требовании сделать Черное море внутренним морем России, сузив оборонительную линию до ширины проливов и вместе с тем используя это море как бухту русского флота: отсюда он мог бы свободно вторгаться в Средиземное море, притом, что российское побережье все равно оставалось бы неуязвимым.

В рамках же доктрины Всеславянского союза Данилевский намечает своего рода компенсацию ослаблению Империи на Балтике: такой компенсацией оказывается выдвижение сил Союза на уровень «Чешского бастиона» – горной гряды, с высоты которой этот Союз держал бы под прицелом центрально-европейские германские земли. Он признаёт, что такая программа с европейским равновесием несовместима. Но опыт Крымской войны и пафос «русской доктрины Монро» делают для него одиозной мысль о русской гегемонии в коренной Европе. Выход он находит в призыве к России «войти в свою настоящую, этнографическими и историческими условиями предназначенную роль и служить противовесом не тому или другому европейскому государству, а Европе вообще, в ее целостности и общности» [там же, 401].

Образ России – противовеса всей Европе в ее «целости и общности» – истинное открытие Данилевского, отражающее реальность геополитического бытия России XVIII–XX вв. как цивилизации-спутника западного сообщества, как одного из элементов ритмически пульсирующей системы «Европа – Россия», другим элементом которой оказывается собственно европейский мир с его имманентной глубинной биполярностью. Показательно, что это открытие оказалось возможным в фазе наибольшего отталкивания и отдаления России от «внутренних дел» Запада в евразийской интермедии, когда динамика Запада

протекала как бы без России. Но сам этот ход еще больше запутывает когнитивную структуру текста Данилевского.

Прямым развитием смыслообраза «России-противовеса» становится тезис о необходимости для нее в условиях прогнозируемого всплеска европейского колониального экспансионизма расширить ту же миссию до масштабов Старого Света как целого (Новый Свет остается целиком полем деятельности США). Целью Всеславянского союза должно быть «не всемирное владычество, а равный и справедливый раздел власти и влияния между теми народами или группами народов, которые в настоящем периоде всемирной истории могут считаться активными ее деятелями: Европой, славянством и Америкой... Сообразно их положению и общему направлению, принятому их расселением и распространением их владычества, – власти или влиянию Европы подлежали бы преимущественно Африка, Австралия и южные полуострова Азиатского материка; Американским Штатам – Америка; славянству – западная, средняя и восточная Азия, т. е. весь этот материк за исключением Аравии и обоих Индийских полуостровов» [там же, 425]. Если перевести этот проект в категории Маккиндера, на долю Европы оставались осколки Внешнего и Внутреннего полумесяца, а собственно в Евро-Азии – исконные западно- и центрально-европейские земли плюс Скандинавия, Аравия, Индия и Индо-Китай, то есть ряд окраинных полуостровов, оказывающихся под постоянной угрозой со стороны Империи Всеславянского союза: прибрежные страны Средиземноморья – из Черного моря, ставшего «русской бухтой», Центральная Европа – из-за Чешского Бастиона, Аравия – из Западной Азии, Индия – из Средней. Как бы пренебрежительно ни отзывался Данилевский об амурских и среднеазиатских акциях России, логика образа «России – противовеса Европе» в предвидении колониального бума толкает его к проекту Империи, держащей под властью ядро Старого Материка и под опекой или под стратегическим давлением – его приморье. Как частный случай такого давления видится Данилевскому возможность грозить Англии походом на Индию – походом, на его взгляд 1869 года, вполне осуществимым в видах удара по противнику, но неоправданно обременительным для Империи в качестве реальной завоевательной акции.

Внутри дискурса «России и Европы» властвует напряжение между несколькими трудно сочетающимися мотивами, ставшими после Данилевского неизменным достоянием нашей геополитической мысли. Один мотив трактует Россию как «второй Рим», наряду с «первым Римом» Запада, держащий пространства, неподвластные «первому Риму». При этом «второй Рим» заинтересован в европейском дисбалансе, в выделении на Западе реального или потенциального гегемона, позиции которого зависели бы от благожелательства России (проявляющегося хотя бы в намерении дистанцироваться от европейских дел). Согласно другому мотиву, она являет мировой противовес Европе (Западу) в целом, соизмеряющий свою мощь с мощью не отдельных европейских стран, но всего западного сообщества, и стремится закрепить за собой положение, когда она могла бы стратегически контролировать даже не входящий в российское пространство географический «дом» Западной цивилизации. Данилевский прямо не замечает, что из одной посылки вытекают следствия, когнитивно отрицающие другую посылку. Он хочет использовать для России нарушение европейского баланса, а в то же время планирует такой гроссраум, который по военной мощи немногим уступил бы всей Европе, включая Скандинавию. Ему как бы невдомек, что формирование такого Большого Пространства, да еще выдвинувшегося на Европейский полуостров и нависшего над коренной Европой высотами Чешского Бастиона, – неизбежно подорвет саму основу европейского баланса сил: защищенность Западного сообщества от внешней угрозы. Объективно калькуляции Данилевского



предполагают возникновение, по крайней мере, союзной Пан-Европы, стоящей против Всеславянского союза, – гроссраум против гроссраума. В таких условиях гегемон, нарушающий баланс внутри Европы и тяготящийся зависимостью от России, вынужден перейти в наступление, получив поддержку со стороны едва ли не всего Запада и бряцая той же риторикой «борьбы цивилизаций», правда, скорее, в варианте Духинского. Создание такого Всеславянского союза, о котором говорит Данилевский и на пути к которому он хочет использовать европейский дисбаланс, объективно вело бы к последствиям, лишаящим проблему дисбаланса всякого смысла перед лицом угрозы Европе как цивилизационному целому.

Данилевский пытается «выстроить» для России пространство, отдельное от Европы, но видит его в таких рубежах, с которыми она угрожала бы выживанию самой Европы не менее чем тютчевский замысел «России будущего».

Как и у Тютчева, у Данилевского Турция не актуализирована в качестве противника России. В развиваемом им мировом сюжете оттоманский эпизод – что-то вроде ретардации в истории Восточного вопроса, ретардации в условиях заката Греции–Византии и слабости славянских государств. Мусульманство осложняет большую игру православия с Европой. Последняя то использует мусульманский фактор для рикошетных ударов по православию (четвертый крестовый поход), для шантажа православия и попыток его поглотить (Флорентийская уния), то, отвлекаясь на борьбу с мусульманской угрозой, позволяет славянству самосохраниться, а России выжить и вырасти в Империю. Мусульманство не дало Европе решить Восточный вопрос в свою пользу (ср. у Тютчева о турках – «хранителях» Константинополя). С возвышением России синхронизируются закат Турции как отвлекающего Запад фактора и упадок Австрии, лишаящейся всех своих функций – барьера коренной Европы против Турции (эта функция просто отмирает), восточного германского центра Европы (функция уходит к Пруссии), формы самосохранения южного славянства (эту функцию готова непосредственно принять Россия). В этих рассуждениях прорезается провиденциальный компонент, как бы надстроенный над секулярной по своей сути доктриной Данилевского. Данью тому же провиденциализму звучат суждения о трансцендентных причинах, которые скрываются за разнородными факторами, дающими единый исторический эффект. Трансцендентные, или идеальные, причины – единственный и, в общем, не очень конструктивный элемент доктрины Данилевского, фокусирующей на политическом служении своему культурно-историческому типу ради полного раскрытия многообразия человеческого рода.

Глубокая психологическая секуляризованность¹ позволила Данилевскому по-новому поставить вопрос о черноморских проливах, отделив его от вопроса о Константинополе, и рассмотреть первый во всем его чисто геостратегическом спектре. Закрывать Россию с юга; обречь любого противника с запада либо пятиться перед замерзающей Балтикой, либо растягиваться по огромной западной границе, дробить и рассредоточивать силы по лесам и болотам; предотвратить возможность «второй Крымской войны», чего, в общем, не добился Горчаков; сжать морскую пограничную линию России на юге в точку; заложить основы реальной морской мощи, когда флот мог бы из «русской бухты» выходить в Средиземноморье, грозить английским базам и французскому побережью и даже выходить в Индийский океан (имея позади прочное убежище), – обо

¹ Секуляризм геополитики Данилевского – в его учении о государствах и культурно-исторических типах как чисто земных, посюсторонних организмах, не имеющих оснований надеяться на бессмертие и потому вынужденных всецело сосредоточиться лишь на своем земном процветании и мощи.

всех этих задачах Данилевский пишет с наступательным восторгом. Но лишь на последнем месте стоит моральный и религиозный момент – момент уже сугубо константинопольский, внушающий геополитику сугубую, обостренную осторожность, несмотря на всю захватывающую архаику воскресающей под его пером картины Царьграда как точки, с которой «нет места на земном шаре, могущего сравниться центральностью своего местоположения».

Именно в 1860-х у русских авторов прорезается тревога перед включением в геополитическое поле России в качестве цивилизационного и политического центра – нерусского города, лежащего вне исторического пространства России, хотя и бывшего в веках объектом экстраверсии. Еще в 1867 г. Погодин, ссылаясь на некоего генерала, заговорил насчет скверных последствий для России от Константинополя, который способен оттянуть ее силы, и выдвинул тему проливов как внешнего доступа к России [Погодин 1876, 178]. О том же следом твердит и Данилевский: «Столица, лежащая не только не в центре, но даже вне территории государства, не может не произвести замешательства в отправлении государственной и народной жизни, не произвести уродства неправильным отклонением жизненных, физических и духовных соков в политическом организме». Константинополь грозит произвести тот же эффект, что и Петербург, но в размерах неизмеримо больших: превратить страну в придаток выдвинутого за ее пределы города, отсасывающего из России «нравственные, умственные и материальные силы». Отсюда вывод, что «Константинополь не должен быть столицей России, не должен сосредоточивать в себе ее народной и государственной жизни – и, следовательно, не должен и входить в непосредственный состав Русского государства». Как центр Всеславянского союза он останется вне России, но войдет в обслуживающее мировые позиции славян политическое пространство. Данилевский осознал опасность управления Россией из центра, вынесенного на крайнюю периферию и грозящего разрушить российскую идентичность (хотя этот взрыв идентичности не смущал ни Тютчева, ни Герцена 1848–1854 гг., приветствовавших поход на Константинополь как шаг, за которым кончается обособленное существование России и Европы, и обе они сливаются в общем, новом состоянии на едином пространстве). Однако, не очевидно, что решение, намеченное Данилевским, принесет тот результат, которого бы ему хотелось, поскольку смыслом существования России оказывается строительство Всеславянского союза с Константинополем, и ядро этого союза все равно будет из российского географического и человеческого материала. Избежать «оттягивания» русских сил в Константинополь все равно едва ли бы удалось, так что на панславистском пространстве возникла бы борьба двух центров – борьба без явных правил в отличие, скажем, от комплементарного, гармонизированного в XIX в. «соперничества» Москвы с Петербургом.

Сравнивая проект Данилевского с проектом Тютчева, можно прийти к интересным заключениям. У обоих отсутствует то чувство российского ядра от Днепра до Тихого океана, отличающее Р. Фадеева; за точку отсчета принимаются наличные границы Империи, для которой намечаются две ступени расширения. У обоих второй ступенью расширения оказывается интеграция в Россию народов Европы, не принадлежащих к ее романо-германскому ядру. Рядом со славянами тут оказываются народы (греки, румыны, венгры), «которых неразрывно, на горе и радость, связала с нами историческая судьба, втиснув их в славянское тело» [Данилевский 1991, 363]. Надо ли это читать – «превратив в этнографический материал славянской цивилизации»? Едва ли. Данилевский, похоже, сознаёт особый статус этих народов, как бы зависших между двумя цивилизациями, и даже готов к ним присоединить цивилизационно мутировавших, вестернизовавшихся славян – поляков. Вместе с венграми поляки для него – враждебный элемент, обреченный присутствовать в Союзе (на его



переднем крае, впритык к Европе!) Греков и румын он готов расценивать как племена, искупающие отсутствие кровного (= лингвистического) родства с Россией – родством религиозным. Однако сам же испытывает жестокую вражду к любым попыткам возродить «греческий проект»: «новая Византия», для него – это потенциально новая Австрия с греко-румынским дуализмом, работающая на «нравственное порабощение славянства» [там же, 324]. И так, во Всеславянский союз попадают народы переходного статуса со специфическими претензиями и, главное, способные при отстаивании этих претензий отталкиваться от России и опереться на «коренной» Запад (правда, в отличие от Погодина, Достоевского и Леонтьева он не видит возможности оборотничества самого славянства, его способности выступить враждебным России элементом, по Духинскому).

И наконец, что особенно показательно, у Тютчева третий пояс расширения России в основном предполагал поглощение Европы и Средиземноморья, то есть интеграция славян оказывалась подготовительной, переходной ступенью к этому финальному акту. У Данилевского таким последним расширением становится контроль «всеславянства» над всем азиатским материком, кроме его великих полуостровов. Иначе говоря, в этом пределе славяне должны войти в один гроссraum с массой азиатов (хотя Данилевский и не допускал присоединения Турции к России, перегрузки страны «магометанским инородным населением»). Панславизм Тютчева и панславизм Данилевского – феномены принципиально различные, ибо, соответствуя разным фазам нашего стратегического цикла, они выступают опорными компонентами радикально различающихся мировых проектов.

* * *

Уточнение и развитие взглядов Данилевского в 1870-х после «России и Европы» достойно пристального комментария. В 1871 г. в своем отклике на предвиденную им франко-прусскую войну он неожиданно быстро отошел от некоторых прежних оценок: вырастая в *крупнейший* центр Европы, Берлин объективно перестает быть потенциальным союзником, но как главный представитель романо-германской цивилизации предстает главным противником России – особенно из-за своей резкой выдвинутой к востоку. Австрия неизбежно окажется в германском фарватере и заключенная в систему Второго рейха обретет вознаграждение на Балканах (это значило бы, что восходящий центр Европы отведет Австрии ту роль, которую ей когда-то ставила ныне слабеющая Франция устами Людовика XV и Талейрана, Полиньяка и Наполеона, – роль прикрытия против России, отвлекающего ее силы). Отсюда пересмотр отношения к Франции. Данилевский уверен, что, организуя барьеры против России, как гегемон своей цивилизации, Франция не имела во вражде к России интереса жизненно-национального в отличие от глядящей на славянский восток Германии (как сказать, если учесть, что до середины XIX в. Россия усиленно поддерживала дряхлевший австрийский центр и стремилась минимизировать французское превосходство). Теперь, в новом раскладе Англия должна поддержать Германию против России, а ослабленная Франция станет российским союзником, что позволит Петербургу использовать в своих видах «французскую партию» славянских и балканских либералов.

Данилевский замолкает в следующие годы, когда российское правительство пытается подключиться к обустройству обновленной Европы через «Союз трех императоров» – иначе говоря, через поддержку Россией обновленного и грозно окрепшего восточного центра европейской системы. Он возвращается в политическую публицистику во время русско-турецкой войны, чтобы повторить прежнюю программу «русской доктрины Монро» с добавлением нового пунк-

та – о желательности обращения Турции в вассальное владение России. Помня уроки Ункяр-Искелесийского договора, он считает, что речь должна идти не об аморфном дипломатическом «влиянии», но о совокупности жестких военных и финансовых обязательств, которые, будучи наложены на Турцию, связали бы ее безоговорочно: «политическое влияние только тогда прочно, когда нет сил ему противиться». Отвергая как «нейтрализацию» проливов (запирающую России выход в мир), так и их «свободу» (подпускающую любого желающего противника к российским южным берегам), он разрабатывает уникальную геостратегическую типологию проливов, беря за критерий возможности обойти их и их преградить.

Его взгляд на Константинополь уже не только полностью свободен от религиозно-исторических мотиваций, но сами эти мотивации им отвергаются даже с какой-то ожесточенностью. «В настоящем виде своем Константинополь не имеет даже значения великого памятника христианской святости, подобно Иерусалиму, или даже подобно Афону, нашему Киеву, Троицкой Лавре. Он не привлекает к себе толпы поклонников». Отрицая в нынешнем Стамбуле «даже присутствие элемента религиозного», Данилевский допускает его возрождение лишь в рамках панславистского проекта. Он не мыслим ни как военный город (опора международных интриг против России), ни как город греческий (что сделало бы Грецию враждебным России проевропейским сторожем проливов). Но еще настойчивее выступает Данилевский против включения Царьграда в «государственное тело» России, где он фатально «перевернет центр тяжести». Россия должна быть «ограждена от обаятельной и притягательной силы, присущей этому величию», несущему с собою возмущение российской цивилизации и всей жизни. В идеале Константинополь – вольный город под исключительным протекторатом России. Пока же следует «оставить Константинополь и проливы под властью» Турции, притом, что сама «Турция будет поставлена в ... полную зависимость от России». Речь идет о притяжении Турции к панславянскому проекту в числе иных неславянских конструктивных элементов. В отличие от Австрии к Турции он не питает никакой вражды, и это вопреки несчетным в те годы газетным сообщениям о турецких зверствах, чинимых над славянами. «Мы под личиной войны с Турцией вели войну с Европой». Поэтому, когда после войны «от Турции останется одна тень», турок можно использовать для прикрытия российского хозяйничанья в проливах: «тень эта должна еще до поры до времени оттенять берега Босфора и Дарданелл» [Данилевский 1890, 84].

В месяцы Берлинского конгресса намечается крупнейший перелом в дискурсе Данилевского, панславизм отходит куда-то вдаль. Оказывается [там же, 136; 137], что «истинный и непримиримый, всегда и во всем, и в мире и в войне стремящийся вредить России враг есть – Англия» (не Австрия, и не Германия, теснящие славянство). Теперь Данилевский – не с Фадеевым, а с Терентьевым: отвернувшись от Балто-Черноморья, он видит Восточный вопрос в системе отношений двух сверхдержав, выстроенной по евроазиатскому югу. Черноморские проливы как фактор российской уязвимости уравновешиваются ведущими в Индию горными проходами. Данилевский еще пытается осмыслить «англо-азиатскую» тему как развитие темы борьбы России и Европы, как противодействие *державе, главным образом утверждающей европейское владычество в мире*. Но эта, новая тема все более развивается в автономный компонент, и Данилевский смыкается с И.В. Вернадским, твердя о миссии России – сокрушить «то исполинское хищение, ту громадную неправду, то угнетение, распространяющееся на все народы Земли (значит, и на европейцев? – В.Ц.), которые именуются английским всемирным морским владычеством» [там же, 205]. Или когда он умиленно пишет о наполеоновской «континентальной системе – мере, неочтенной современниками, но кото-

рая, тем не менее, могущественнейшим образом содействовала развитию промышленности на материке» [там же, 164]. Восточный вопрос выступает теперь для него, как и для массы его современников, «английским вопросом». Под маской «духа пространств», «духа непримиримого противостояния континента и моря» действует дух времени – именно, той фазы стратегического цикла, когда Россия, по пророчеству Талейрана, будучи отброшена из Европы «в азиатские степи», составила новую конфликтную систему с Англией. Два географических маргинала континентальной Европы, в XVIII в. служившие европейскими балансирами, с уходом России из европейской игры были обречены на эту борьбу за европейскими пределами. Панславизм с попыткой создать особое пространство России от Балтики до Балкан – «неевропейское» пространство на Европейском полуострове – лишь затушевывал и усложнял логику нового расклада. Берлинский конгресс стал для Данилевского моментом той истины, которую наш автор выразил с четкостью, достойной Терентьева или Скобелева: «России ничего другого не остается, как постараться, чтобы проливы потеряли для нее (Англии. – В.Ц.) всякую ценность, чтобы свободное сообщение с Индией утратило для нее всякое значение. Князю Паскевичу приписывают слова, что путь в Константинополь идет через Вену. Видимо, и путь к Босфору и Дарданеллам идет через Дели и Калькутту» [там же, 138]. Столкновение этих двух афоризмов раскрывает логику двух контрастных фаз стратегического цикла, изменчивую функцию т. н. Восточного вопроса, мотивировавшего в одном случае – превращение России в протектора Германии, а в другом – крепнущую южно-азиатскую фокусировку.

Сообразно с логикой новой фазы Данилевский провозглашает неизбежность окольного азиатского пути не только к проливам, но и к объединению славянства [там же, 178; 219], решительно поменяв местами намеченные в «России и Европе» фазы расширения Империи. Чтобы затем, очистив совесть панслависта, обратиться к характеристикам России как державы азиатской, «державшей в своих руках судьбы Востока, обаяние которой ... должно было утвердиться не только на берегах Босфора, но и на берегах Инда, Ганга и Ирравади» [там же, 149], которая одна «имеет возможность угрожать Индии, в случае нужды подать помощь Китаю, защитить Персию» и, в случае «ослабления Турции, с одной стороны овладеть проливами», «с другой же, по соседству, сделаться наследницей богатейших стран Азиатской Турции» [там же, 177]. В свою очередь, «владение Эрзрумом позволило бы нейтрализовать английские дороги от Босфора к Персидскому заливу» [там же, 146].

Написанная по следам Берлинского конгресса статья «Горе победителям!» выразила новое мировидение Данилевского с предельной чеканностью. Статья констатирует полное крушение попыток России решать Восточный вопрос в свою пользу, опираясь на европейский баланс. Круто разведя вопросы о культурно-цивилизационной и политической принадлежности России к Европе, он заявляет, что его интересует только последний аспект. «Я готов даже согласиться (конечно, не иначе, как в виде риторической фигуры уступления), на эту нашу культурную принадлежность к Европе. ... Но именно сопредельность России с Европой причиной тому, что интересы России не только иные, чем интересы Европы, но что они взаимно противоположны, что в политическом плане Россия не только не Европа, но Анти-Европа. ... Всякий организм – будь то индивидуальный, как человек, или сложный, как государство, или коллективный, как система государств, получает сознание о своем отдельном бытии только при пробуждении сознания своей противоположности чему-либо. ...» «Анти-Европа» и есть Россия и представляемый ею Славянский союз [там же, 172; 173–174; 180]. Отвлекаясь от каких-либо позитивных характеристик России как цивилизации («культурно-исторического типа»), Данилевский ограничивается сугубо функциональным международно-

политическим отношением России к системе Европы и в этом ракурсе определяет Россию как «Анти-Европу», как член бинарной системы, другим членом которой выступает Западное сообщество в целом с его внутренним балансом. Россия для позднего Данилевского – не просто самобытная цивилизация, но функциональное «иное» Западного сообщества. Тем самым он вплотную подошел к выводу не просто о некоей миссии России быть противовесом европейскому сообществу как целому, но о реальном существовании такого международного образования как метасистема «Европа – Россия». Я полагаю, что именно эта модель находит свой культурологический эквивалент в предложенной Б. Гройсом трактовке ряда явлений русской мысли как представления Запада о «своем ином, своем «анти-»». Тем самым понятие «Анти-Европы», введенное Данилевским применительно к функционированию международных политических структур, может получить и культурологическое измерение.

Однако, после этого вывода следует курьезное утверждение, что для России перестать отождествлять свои интересы с европейскими, начать руководствоваться сугубо собственным эгоизмом – это и значит начать жить по-европейски, как живут между собою отдельные страны. Как будто осознать себя «Анти-Европой» значит перестать соотносить себя с Европой как целым. Как будто дистанцирование от европейского концерта и переориентация интереса в Азию, взгляд на Восточный вопрос в азиатском контексте мог привести к иным результатам, кроме возникновения сверхсистемы «Европа – Россия», также и второй биполярной системы «Англия – Россия». Апелляции Данилевского к Екатерининскому веку как эпохе истинно-национальной политики имели характер столь же мифотворческий, как и попытки Чаадаева увидеть в той эпохе пример бескорыстного служения России Западу. Факты, говорящие о том, что идеология фазы А, участия России в игре разъединенной Европы в качестве балансира, единственной фазы, когда Россия вправе видеть перед собой не Европу в целом, а отдельные государства, оставалась совершенно непрозрачна для мыслителей, погруженных в ситуацию как наших «европейских максимумов», так и «евразийских интермедий».

Как реалист-геостратег Данилевский кончил жизнь типичным «протоевразийским мыслителем», рвущимся на Босфор через Колхиду и Калькутту и склоняющимся к мысли, что собирание славянства как-то проистечет из парализующего Англию контроля нашей Империи над платформами Азии.

VI

А между тем, 1870-е вносят сугубое осложнение в график российско-го стратегического цикла. Объективная ситуация в Средней Азии (конфликт с Хивой, восстание 1875–1876 гг. в Коканде, столкновения с туркменами), как и говорил Венюков, не давали России остановиться на каком-либо азиатском рубеже. А вместе с тем, в Европе обозначилась конъюнктура, которая, казалось бы, позволяла Империи возвратиться в европейский расклад и уже с опорой на него сфокусироваться на балканском направлении, на проливах, сохранявших первое место в национальном перечне стратегических приоритетов. В главе I я уже очертил геостратегическую механику этого времени. «Уход» России из Европы во второй половине 1850-х стал возмездием Австрии: изгнанная из Италии Кавуром и Наполеоном III, а из Германского союза – Бисмарком, к концу 60-х реформированная на началах австро-венгерского дуализма, она перестает быть восточным силовым центром Европы, самое большее, цепляясь за роль балансира в новой франко-прусской игре. Разгром Франции определил восхождение бисмарковской Германии в роли потенциального европейского гегемона, но гегемона, сохраняющего уязвимость с востока.



С начала 1870-х проявляется двойственное отношение новой Германии к России: формальное сотрудничество при попытке подстраховаться против русских, втянув Австрию в германскую сферу влияния, соединив балтийский и карпатский узлы Балто-Черноморья. Будет ли Россия опорным глубоким тылом нового германского восточного центра, или она представит вызов этому центру, нейтрализуемый австрийским авангардом? – такой вопрос вставал перед Германией. С устранением Австрии из биполярного расклада Европы, в глазах Бисмарка и его преемников, она обретала роль, которая ранее ей отводилась в планах стремившихся к европейской гегемонии французских руководств – в планах Людовика XV, Талейрана, Полиньяка, Наполеона III. Сама же Россия оказывалась в положении, когда, соотнося себя с европейским раскладом, она должна была выбирать между ролью германского тыла и попыткой бросить Германии вызов в качестве ее соперницы, потенциального восточного центра Европы, претендентки на австрийское наследство. Кто будет основным тылом Германии, обеспечивающим ей перевес над Францией, – Австрия или Россия? Ответ на этот вопрос во многом определял выживание Австрии и Франции. Все эти выборы оказывались связаны зависимостью. Россия, не позволяющая немцам подмять и подавить Францию, становилась тылом ненадежным, на роль главного тыла выдвигалась Австрия, а Петербург становился центром, конкурирующим с Берлином. Последний оказывался прямо заинтересован в развороте России лицом к Азии, и Россия, которая позволила бы подавить до конца Францию, становилась бы привилегированным германским тылом: но при этом перед Берлином вставал призрак грозной восточной силы, контролирующей балто-черноморский «вход» Европы и ликвидирующей суверенную Австрию. Все эти связи можно представить в таблице:

	Германская гегемония в Европе	Выживание Франции	Прочность Австрии	Австрия – тыл Германии
Россия – тыл Германии	+ / ?	–	–	–
Россия – конкурент Германии	–	+	+	+

В мемуарах Бисмарка сквозит постоянный страх, что Австрия в целом окажется притянута к России как таковой или в рамках новой франко-русско-австрийской «коалиции Семилетней войны» [Бисмарк II, 212 сл.; 227 сл.]. Точно так же страшился он грез русских панславистов о дезинтеграции Австрии и включении ее немецких земель в Великую Германию: его пугала как дестабилизация пространств от Тироля до Буковины, так и появление *внутри* Германии нового ядра – Вены, которой в силу ее традиций «нельзя было бы управлять из Берлина как придатком» [там же, 42] и которая, утратив роль объединителя негерманской Центральной Европы, вновь стала бы «контрцентром», разрывающим Германию. Тяготее к «органическому» германо-австрийскому союзу, гарантирующему Австрию против России, Бисмарк опасался сделать Германию жертвой антирусского авантюризма: не воевать с Россией он хотел, а удержать ее вне Европы и для этого постоянно связывать ее Австрией [там же, 225]¹.

¹ Россия как германский тыл могла означать подавление Франции, но за это потребовать или осуществить де-факто ликвидацию Австрии, что превратило бы европейскую биполярность в противостояние Европы и России (аналог Ялтинской системы). Россия, поддерживающая выживание Франции, толкала Германию к союзу с Австрией и рано или поздно должна была определиться в качестве конкурирующего с Берлином и союзного Франции претендента на австрийское наследство в Европе.

Вся эта логика нового расклада выявлялась в 1870–1880-х постепенно в результате неудачных попыток России вернуться в Европу – опираясь на этот расклад, открыть новую фазу А в новом стратегическом цикле. Я говорил уже о реальном основании этой неудачи: вхождении повышательной сверхдлинной волны европейского милитаризма в срединную интермедию, когда уже определились стиль и тип «народных войн» на полное уничтожение противника, но не созрел проект, который бы оправдывал подобную войну в общеевропейском масштабе, да и конфигурация сил оставалась неопределенной, и поводы к войне сомнительны. Русские политические мыслители сумели констатировать это положение. Данилевский отмечал, что после объединения Германии и Италии в Европе консолидированных национальных государств наступит затишье – ибо будет очевидно, что надлом любого из них в новой войне повлечет ощетиивание остальной Европы против победителя: наступает эра баланса и колониальных переделов внешнего мира. Достоевский отмечал трудность создания в эту пору в Европе коалиций из-за разнородности потенциальных интересов, из которых не собирались конфигурации, способные консолидировать державы.

В этих условиях опора Германии на Россию как тыл ради большого германского наступления в Европе оказывалась вариантом более рискованным, чем поддержка Австрии как стража против России при сохраняющемся перевесе германского центра над Францией. Еще оптимальнее Бисмарку казался вариант, который позволил бы сочетать «органический союз» Германии с Австрией и удержание России в качестве лояльного тыла. Этот вариант, на который Бисмарк пошел бы особенно охотно, предполагал бы передачу проливов, а может, и Константинополя России с разделом Балкан на русскую (Румыния, Болгария) и австрийскую (Босния, Сербия) зоны. Россия, владеющая Константинополем и находящаяся в открытом антагонизме с Англией, попадала бы в полную зависимость от Австрии и Германии и была бы отстранена от какого-либо серьезного вмешательства в дела Европы [Бисмарк II, 239 сл.]. Россия получала бы южный участок старой балтийско-черноморской системы (без ее расширения на запад), после чего всецело сосредоточивалась бы на борьбе с Англией вдоль евроазиатской дуги от Балкан до Тихого океана. Австрия нависла бы над юго-западным флангом России как германский аванпост, Германия главенствовала на Балтике и выходила в европейские лидеры. В общем, Бисмарк был существенно щедрее Вильгельма II и Гитлера, а блестяще предвиденная им логика германского движения к Черному морю и на Ближний Восток была достаточно чужда «железному канцлеру».

Помимо других моментов, осложнявших реализацию этого плана (распространяющееся в России панславистское видение в стиле Фадеева-Данилевского и т. п.), следует назвать и позицию Горчакова. Едва ли можно согласиться с акад. С.Д. Сказкиным, писавшем о Горчакове, что «дипломатические победы его были весьма сомнительны, и вся его деятельность едва ли может быть названа успешной» [Сказкин 1964, 414]. Успехи были – вроде отражения европейских демаршей по польскому вопросу, улаживания среднеазиатских осложнений с Англией, – но если исключить «возмездие» Австрии руками Наполеона III, эти успехи были в основном оборонительного характера. Исповедуя принцип сосредоточения на внутренних делах и «свободы рук», Горчаков не имел ясной стратегии возвращения России в Европу, но не стремился и к балканской ангажированности, а расширение в Средней Азии, видимо, искренне трактовал как вынужденную политику, которую стремился ограничить созданием там буфера. При этом к германской гегемонии в Европе он испытывал сильнейшую неприязнь, стремясь предотвратить надлом Франции [ИВПР 1997а, 80]. Россия при Горчакове отказывалась определяться как германский тыл, а потому ей трудно было рассчитывать на германскую поддержку в балканском наступлении, – но



Горчаков к этому наступлению, в общем, и не стремился. Придя к руководству российским МИДом в фазе D и выразив дух этой фазы в формуле «сосредоточение» или «собираение с мыслями», Горчаков был втянут в евразийскую игру и в ее рамках пытался делать то, что ему казалось наилучшим, но он не был готов к каким-либо крупным акциям на европейском направлении.

Вся политика 1870-х выглядит рядом накладок и противоречий. Уже в 1870–1873 гг. с возвышением Второго рейха военное министерство (Милютин) разрабатывает план создания по Висле и Неману системы укреплений для обороны против Австрии и Германии и перехода против них в наступление [ИВПР 1997а, 38]. В то же время конвенция Александра II и Вильгельма I от 1873 г. утверждала включение России в расклад Европы в качестве союзницы Берлина. Но Бисмарк фактически блокировал конвенцию, сделав ее условием присоединение к ней Австрии, а тем самым исключив возможность использовать конвенцию в панславистских раскладах. Созданный взамен «Союз трех императоров» страховал Германию с Востока, а России развязывал руки в Центральной Азии, любые же балканские акции Петербурга ставил под берлинский и венский контроль. Итак, активность России направлялась против Англии и распределялась вдоль «евроазиатской дуги», так что действия на Балканах – околоевропейском участке дуги – оказывались затруднительны. Настаивая на радикальной локализации русско-турецкой войны, Горчаков, по словам современников, сознательно создавал условия для «полувойны», которая «могла привести только к полумиру» [Бисмарк II, 193 сл. Сказкин 1964, 415]. Принимая такую ситуацию как должную, Горчаков ее усугубил демаршами середины 1870-х в пользу Франции, убеждая лишний раз Бисмарка в значении Австрии как аванпоста против России. Чем прочнее становилось германо-австрийское пространство, тем более сужался выбор России, сводясь к двум вариантам: либо игра вдоль евразийской дуги в отдалении вне Европы, либо возвращение в Европу в качестве противницы Германии и союзницы западного центра (но для этого и самому западному центру предстояло быть существенно укрепленным и реорганизованным, и должны были быть полностью пересмотрены отношения России к Англии).

В этом тупике прорезались единичные случаи, когда перед Россией намечался третий вариант решения Восточного вопроса и влиятельное возвращение в Европу на основе сделки с Германией в качестве ее тыла. Первый случай – это конвенция 1873 г. в изначальном варианте, без участия Австрии, перечеркнутая Бисмарком. Случай второй – запрос Александра II в 1876 г. в начале войны на Балканах насчет возможности германского нейтралитета в случае наступления России против Австрии. Бисмарк конфиденциально объявил таким условием согласие России на «совершенный разгром Франции» – и сделка была заблокирована Горчаковым [ИД II, 37–41. ИВПР 1997а, 188]. В последний раз подобные шансы обозначились в 1886–1887 гг., когда представители Александра III в Берлине Петр и Павел Шуваловы предложили Бисмарку русско-германский договор без участия Австрии, предполагающий нейтралитет России в войне Германии против Франции при любых условиях – вплоть до того, что первая «посадит прусского генерала в качестве парижского губернатора». Суля России проливы и Болгарию, Бисмарк опять-таки оговорил целостность Австрии и ее влияние в Сербии, и в результате договор был дезавуирован Александром III [ИД II, 248–251. ИВПР 1997а, 265]. Камнем преткновения постоянно оказывались славянские земли Австрии и прилегающие к ней участки Балкан: эти земли, с точки зрения Бисмарка, принадлежавшие к германской Центральной Европе, а с русской точки видевшиеся то ли естественной частью русского Балто-Черноморья (Фадеев), то ли западной оконечностью евроазиатской дуги, представляли участок, относительно которого сталкивающиеся «национальные геополитические коды» двух сторон не допускали согласования.

В результате России пришлось вести войну 1877–1878 гг. на жестких английских и австрийских условиях, а выход за рамки этих условий в Сан-Стефанском прелиминарном договоре был пресечен совместным германо-австро-английским нажимом на Берлинском конгрессе. На этот нажим она могла ответить лишь действиями в Афганистане, повлекшими его оккупацию Англией – заставившую русских в их черед наступать в Туркмении. Россия оказалась вынуждена идти на новые сделки с Германией и Австро-Венгрией, заключившими против нее в 1879 г. меридиональный комплот. Восстановленный «Союз трех императоров» гарантировал России нейтрализацию проливов, а значит, защиту ее черноморского побережья от Англии (зато Австрия развернула экспансию на Балканах от Бухареста до Белграда). Партнеры последовательно переориентировали Россию на отдаленные от Европы участки евроазиатской дуги. Впрочем, расходясь с австрийцами, Бисмарк постоянно оставлял в запасе вариант с уступкой русским Болгарии и проливов в обмен на европейскую гегемонию Берлина – при последующем сдерживании России австрийскими и английскими силами. Горчаков сопротивлялся «Союзу трех императоров», но никакой альтернативы не предлагал и вообще все больше отходил от реальной политики. Берлинский конгресс и позиция, занятая на нем Германией, определили крушение преждевременного русского «возврата в Европу»: наметившаяся новая фаза А оказалась abortивной. «Союз трех императоров», по крайней мере, давал возможность возобновить евразийскую интермедию, достраивая русское пространство на юге, призывы же Горчакова к «свободе рук» оказывались совершенно неконструктивными. Существенно другое: на константинопольском направлении она была нейтрализована Австрией, за которой стоял Второй рейх, усиливающийся на Балтике и начавший с 1880-х инвестировать в перевооружение турецкой армии и насыщение ее германскими инструкторами. Официально трактовавшееся до сих пор как вспомогательное, поддерживающее босфорские и константинопольские замыслы, среднеазиатско-индийское направление становится единственным, на котором Россия могла действовать до тех пор, пока не соглашалась на полную германизацию Европы (включая и Балтику, и значительную часть балкано-славянского пространства).

Оформляя новую ситуацию, в 1880 г. возникает проект Д.А. Милютина, изложенный в записке «Мысль о возможном решении Восточного вопроса в случае окончательного распада Оттоманской империи»: странная идея Балканской федерации с включением в нее же и Константинополя с Адрианопольским вилайетом, и управляемых Австрией Боснии и Герцеговины. Все это скопище территорий виделось Милютину управляемым комиссией, образуемой представителями великих держав и хлопочущей о нейтрализации проливов Мраморного моря. Этот замысел – вырожденный итог целой серии русских проектов, включающей «Греческие царства» Екатерины II и Пестеля, «Дунайский союз» Погодина и т.д., то продолжающих Россию на юго-запад, то, наоборот, прикрывающих ее с этого направления, которое Милютин, чтобы защититься от Англии, готов был полностью отдать под контроль «мирового сообщества». При этом политик-практик и организатор реформируемой армии даже не задается вопросом, который встает в те же годы перед разбирающимися сходные планы Данилевским и Достоевским: во что же способно обратиться подобное, нейтрализуемое «мировым сообществом» пространство в случае возникновения в Европе большой войны, которой бы это сообщество раскололось на враждующие блоки. Весь проект Милютина рассчитан на долгий европейский мир и действия России по преимуществу вне Европы. Евразийская фаза продолжалась, толкая ко все более глубокой переоценке ценностей и перестройке картины мира российских политиков и стратегов.



VII

Достоевский как публицист с обостренным интересом и вкусом к международной политике воплотил с особой силой веяния этого десятилетия с его зависанием между проскоком в новый цикл и продолжением евразийской фазы. Сравнивая его с Данилевским, видишь: с одной стороны, он больше, чем тот, живет спором с идеями европейского максимума (1840–1850-х), он более чуток к ускользнувшим в 1870-х шансам начать новый цикл; с другой стороны, он не ангажирован панславистски и потому глубже и богаче видит тему «русского пространства в Азии». Вообще, «Дневник писателя» и наброски к нему перенасыщены гео- и хронополитическими наблюдениями, заставляющими вспомнить о военном образовании автора. То он вспоминает выкладки Мальтуса насчет способности территории «поднять ту численность населения, которая сообразна с ее средствами и границами», – и заключает: «Таким образом, многоземельные государства будут самые огромные и сильные. Это очень интересно для русских» [Достоевский XXIV, 89]. То мимоходом заметит о войнах как «нормальном состоянии» с периодом в 25 лет [Достоевский XXV, 103. XXIV, 276], то рассуждает о случаях появления нового оружия задолго до того, как специфическое стечение обстоятельств обнаружит его подлинный потенциал [Достоевский XXIV, 269]. И много такого в «Дневнике» – от прогнозов насчет деградации России в перспективе нарастающего «безлесья» до пронзительной экологической эсхатологии высказываний о том, что «человечество обновится в Саду и Садом выправится» [Достоевский XXIII, 96 сл.].

Связь с идеологией до-севастопольских лет сквозит в монологе Князя из набросков к «Бесам», – в то же время передразнивающим фразеологию («этнографический материал») «России и Европы» Данилевского: «никогда еще мир, земной шар, земля не видали такой громадной идеи, которая идет теперь от нас с Востока на смену европейских масс, чтобы возродить мир. Европа и войдет своим живым ручьем в нашу струю, а мертвую часть свою, обреченную на смерть, послужит нашим этнографическим материалом» [Достоевский XI, 167]. Вся «мертвая часть» Европы назначается на ту роль «материала» для российской цивилизации, которую Данилевский отводил финским племенам. Но это – из речи героя, а в собственных черновиках Достоевский не устает отрекаться от «устарелого панъевропеизма». «Может ли кто верить в такую дряхлую мечту (что русские покорят Европу)». «Нет человека теперь в Европе, чуть-чуть мыслящего и образованного, который бы верил теперь тому, что Россия хочет, может и в силах истребить цивилизацию. ... Невероятно, чтобы не знали они, что Европа вдвое сильнее России, если б даже та и Константинополь держала в руках своих» [Достоевский XXIII, 185; 62].

Власть над Европой – идея «дряхлая», идея ушедшей эпохи. Но Достоевский лукавит: он сам постоянно возвращается к этой «дряхлой» идее, однако смещает ее в то неопределенное будущее, где Европа национальных государств будет расшатана социализмом (при этом крушение папских притязаний на светскую власть вызывает мысль о будущем переплетении «подрывной» работы католицизма с социалистическими движениями). Он, как и Тютчев, верит, что эти силы приведут к тому разложению, которое позволит России, до поры самоотстранившейся от западных дел, вернуться в Европу судьей, который, держа судьбу этого сообщества в своих руках, с православных позиций войдет в диалог с европейским социализмом. В этой временной дали «будущность Европы принадлежит России. Но вопрос: что будет тогда делать Россия в Европе?.. Россия решит вовсе не в пользу одной стороны; ни одна сторона не останется довольна решением» [Достоевский XXII, 122. XXIV, 147]. Однако, к тому столетию русские уже будут вполне самостоятельны и дистанцированы от европейских забот, обретая новую мощь, – и Достоевский не случайно в этой

связи выписывает слова «Восточные окраины и Сибирь» [Достоевский XXIV, 147]. Откат русских к востоку – ретардация сюжета, отсрочивающая и в то же время подготавливающая паневропеистский финал «русского суда». Восприятие европейского социализма как фактора, который в своей разрушительности работает в конечном счете на Россию, выливается у Достоевского в раздумья о русских «левых западниках», которые обнаруживали свою русскую сущность именно тем, что в Европе примыкали к революционным силам, то есть к потрясателям западной цивилизации. Достоевский их приветствует за это, правда, подчеркивая, что для полной стратегической последовательности им бы следовало сочетать революционность в Европе с консерватизмом применительно к России [Достоевский XXIII, 38–42. XXIV, 205].

Свое время Достоевский определяет как конец «эпохи прорубленного в Европу окошка», как время утраты столицами с их прикосновенностью к Европе особой просветительски-цивилизационной роли. Именно поэтому он связывает с этой фазой всплеск областничества [Достоевский XXIII, 6–7]. Но сама по себе эта фаза – лишь звено истории Восточного вопроса. По Достоевскому, Восточный вопрос родился «вместе с царством Московским» [Достоевский XXVI, 30]. Он формулирует его в различных местах по-разному, но неизменно этот вопрос выходит у него за пределы вопроса славянского. Разрешение Восточного вопроса России предстоит «после разрешения славянского вопроса». Точнее у России «есть кроме славянского и другой вопрос ... а именно Восточный вопрос», который разрешится лишь в Константинополе [там же, 81; 84]. «Восточный вопрос, то есть вопрос об объединении православия (и более ничего)» [Достоевский XXIV, 174]. «Весь православный Восток должен принадлежать православному царю, и мы не должны делить его (в дальнейшем на славян и греков)» [там же, 313]. Восточный вопрос – ключевой вопрос самосознания русских, как и у Тютчева [там же, 294; 302]. В конечном счете, этот вопрос был поднят в истории как альтернатива миродержавию католической церкви с ее претензией «вести человечество мечом». Восточный вопрос включает в себе потенцию панправославного мирового проекта, и славянский вопрос – лишь частная предварительная стадия на подступах к этому проекту. Понятно, что при таком видении Восточного вопроса он на самом деле и в Константинополе разрешен не будет: константинопольский вопрос в его исторической конкретике – такая же частность, как и вопрос о судьбе и назначении славянства; всё это подсюжеты, встроенные в сюжет пути к мировому панправославному единению для становления России миром и мира – Россией. В долгосрочной истории этой мировой трансмутации Достоевский предполагает четыре фазы. Фаза первая соответствует Московскому царству. «Древняя Россия была деятельна политически ... но она в замкнутости своей готовилась быть неправа». Она сочетала православный идеал с «деловитостью»: при «тощих средствах, малой густоте населения, отчужденности от мира других народов», она умела «блюсти и соблюсти государство, единство, торговлю, колонизацию». Этап второй: «через реформу Петра мы сами собою сознали всемирное значение наше» [там же, 183 сл.]. Однако самодовлеющий пафос «служения Европе» вылился в ложные зигзаги вроде «служения Меттерниху» [Достоевский XXVI, 171]. С Крымской войной эта вторая фаза кончилась. Намечается третья эпоха – возвращения России к себе, обретения ею вне Европы нового самосознания и новой мощи (тема русского Востока). Но эта эпоха подготавливает четвертую фазу финального русского возвращения в Европу, суда над нею и «собираения племен, тот акт, которым наш русский Восточный вопрос разрешится в мировой и вселенский» через крушение западного псевдохристианства (ср.: «Восточный вопрос есть в сущности своей разрешение судеб православия» [там же, 85; 199], «утверждение всемирности России»). От деятельной самозамкнутости

Московского царства через осознание всемирного положения России после Петра I – и далее через новое понимание своего назначения на неевропейских путях – к финальному вливанию Европы и всего христианского человечества в Россию, покоряющую к тому времени под свою руку мусульманский восток. Такова четырехфазовая хронополитическая историософия Достоевского, где современность предстает третьей фазой созидания восточного царства, предшествующей четвертому времени – хилястическому итогу мировых судеб (ср. [Достоевский XXIII, 46 сл.]). В этот долгосрочный сюжет встроен мотив второй, послепетровской эпохи как великого недоразумения, когда Россия отчаянно пыталась доказать себе и Западу свой европеизм; европейцам же эти попытки внушают страх видением чужеродной силы, пытающейся слиться с Западом, поглотив его [Достоевский XXV, 20–22]. Этот мотив, восходящий к опыту Священного союза, к истории с «Завещанием Петра Великого», у Достоевского исполняет двойную миссию: с одной стороны, он оправдывает «исход» России с Запада, размежевание двух человечеств. С другой же стороны, европейский страх перед русскими оказывается правдивым предчувствием того последнего решения Восточного вопроса, когда Россия станет над Европой миродержавным судьей. Идеология фазы С нашего первого стратегического цикла, осуществление надежд, видевшееся Тютчеву и Герцену столь близким, относится Достоевским в будущий век; в результате же время, предшествовавшее Крымской войне, по смыслу своему оказывается недоразумением, но недоразумением пророческим.

Любопытно, однако, что разрешение славянского вопроса и овладение Константинополем Достоевский вовсе не относит к эсхатологической, долгосрочной перспективе становления мира – Россией; славянская и константинопольская проблематика образуют у него особый среднесрочный сюжет, который таким образом входит в сюжет долгосрочный (четырёхфазный), что все эти проблемы, над которыми десятилетиями билась русская мысль, оказывается необходимым решить еще в фазе отстояния и отделения русских от Европы. Таким образом, в политической эссеистике Достоевского взаимодействуют два хронополитически разномасштабных сценария, которые объединяет тема кризиса католицизма как европейской сакральной вертикали и созидания вокруг России Восточного царства.

Среднесрочный сценарий организуется сюжетом заката Австрии и превращения Берлина в новый восточный центр Европы, чем резко изменяется непосредственный, ближайший смысл Восточного вопроса для России. «Восточный вопрос переносит центр тяжести; он не в Париже, не в Entente cordiale и даже не в Англии. Семя его перелетело вихрем обстоятельств на немецкую почву и что же в том, что он глубоко еще закопан в землю; природа возьмет свое и зерно даст рост. Восточный вопрос теперь в Берлине, да и всё теперь таится и гнездится в Берлине» [Достоевский XXIV, 163; ср. 171 сл.]. К Германии переходит былая австрийская роль в кризисной Европе, Австрия получает германскую поддержку для действий на европейском «корневом» юго-востоке. «Австрия, по-видимому, оставлена хозяйкой этого движения. Надобно же ее вознаградить за немецкие земли» [там же, 171]. Австрия возьмет «турецких славян. Одним словом, уж конечно, Берлин теперь – владыка Восточного вопроса, а не кто другой, а Россия пусть занимается Средней Азией и Берлин ее в том поощряет». «Таким образом ... совершенно уничтожается Восточный вопрос и становится берлинским вопросом... Австрия в Константинополе» [там же, 187]. Сталкивание России и мери<дионального германо-австрийского блока>.....

<Обрыв текста. Фрагмент рукописи утрачен. Примеч. ред.>

<Почти лишним элементом выстраиваемого Россией пространства оказываются славяне, слишком озабоченные> своей все не получающейся кооптацией в «коренную» Европу и готовые (в лице своей интеллигенции и политиков) добиваться этого, враждебно отталкиваясь от России. Если для Погодина 1840-х гг. антироссийский славянский фронт, создаваемый с западной подачи, выглядел катастрофой Империи, то Достоевский спокойно размышляет о вероятности славянского союза под эгидой оседлавшей проливы Англии [Достоевский XXIII, 113 сл.], о распространенной среди славян «затаенной недоверчивости к целям России, а потому даже враждебности к России и русским», о греческом и славянском элементах Юго-Восточной Европы «с огромными, совсем несоизмеримыми и фальшивыми мечтаниями» и готовностью в осуществлении этих мечтаний строить «союз и оплот против северного колосса» и т. д. [там же, 115–116]. Он готов признать вражду между «русскими» и «славянами» (именно так, а не между русскими и *другими* славянами) за «семейные ссоры», и вместе с тем для него славяне – «источник будущих несчастий России», вносящий к нам «начало раздора и разъединения» [Достоевский XXIV, 131; 288]. Он убежден, что в условиях сосуществования России и германо-австрийского блока славяне «первым делом будут подлизываться к Австрии и бранить и обвинять Россию», страшиться присоединения к ней [там же, 189; 137].

Отсюда его программа отношения России к славянам. Во-первых, «мы не можем раствориться в славянстве, мы выше» [там же, 131]. Во-вторых, Россия не должна присоединять к своему пространству ни клочка славянских земель, но исключительно наблюдать за их «свободой, согласиём и самостоятельностью», проводя здесь долгосрочную воспитательную работу – «делая им добро и проходя мимо», принимая как неизбежность всплески здесь вражды против нее [Достоевский XXIV, 131; 137. XXV, 100. XXVI, 81]. «Дело славянское есть дело русское и должно быть решено окончательно лишь одной Россией и по идее русской» [Достоевский XXIII, 151]. Это значит, что, вопреки Данилевскому, смысл существования России вовсе не состоит в утверждении славянства, но сами судьбы славянства имеют подчиненный смысл относительно русской Пан-Идеи, а во-вторых, славянам отводится роль политического лимитрофа с достойной свободой по отношению к России. Лишь в пору увлечения дележом Европейского полуострова между Россией и Германией он увлекается «все-славянской философией». По сути же славяне в его глазах образуют общинное окраинное соседство, окаймляющее Россию в пору ее отмежевания и отделения от Европы; цивилизационный же статус России не сводится к лингвистическому славянизму.

Поэтому понятно, что для него немислимо соучастие России во владении Константинополем с другими славянами, по Данилевскому, «если Россия им неравна во всех отношениях – и каждому народу порознь и всем им вместе взятым» [Достоевский XXVI, 83]. «Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое Восточный вопрос» [там же, 81]. Царьград должен достаться России не как столица всеславянства, а необходим ей помимо стратегического значения, как охранительнице православия. Но и в этом качестве он не мыслим как русская столица без того, чтобы не спровоцировать в ней жестокий кризис. «Царьград не Россия и не может стать Россией» [Достоевский XXIII, 49]. Там императоры русские перестали бы быть русскими, а стали бы императорами всего православия; эта идея была близка допетровскому Царству и не чужда даже Петру. Слова о том, что новая империя должна была бы выйти из России, «как из желудя выходит дуб» [там же, 199], заставляют вспомнить эмбриологическую метафору Тютчева. Но в этом случае инстинкт самосохранения грозил бы разделением и взрывом такой православной империи, ее географическим расколом. «Мощный великорус остался бы в отдалении на своем мрачном снежном

севере, служа не более как материалом для обновления Царьграда, и, может быть, под конец, совсем не признал бы нужным идти за ним. Юг же России весь бы подпал захвату греков. Даже, может быть (воспроизведя в более грандиозных формах русский раскол XVII в. – *В.Ц.*), совершилось бы распадение самого православия на два мира: на обновленный царьградский и старый русский» [там же, 48 сл.].

С ужасом обращается Достоевский к картине опустевшего, переставшего служить столицей Петербурга – к той картине, что когда-то радовала воображение Погодина: «множество домов без поддержки, без штукатурки, дыря в окнах – а посреди – памятник Петра» [там же, 199]. Не исключено, что мотив Петербурга как города-призрака, готового исчезнуть, оставив сторожащего болота и пустоши Медного Всадника (в «Подростке»), изначально связан с идеей геополитического переворота, влекущего за собой перенос столицы (предвосхищение картины покинутого правительством Петрограда в дни Гражданской войны). Наконец, Достоевский договаривается и до того, что «завоевание Константинополя теперь (сентябрь¹ 1876 г. – *В.Ц.*) было бы более губительно, чем полезно. ... Великорус может согласиться лишь на первенство, но греки как теперь немцы. ... И тогда ... уже не великорус будет первенствовать и вести, а дело православия, ибо славян, греков и великорусов (поразительный ряд, где великорусы противопоставляются одновременно грекам и славянам. – *В.Ц.*) могла бы связать в целом лишь весьма сильная идея, а только православие нет. И великорус, может быть, обособился бы, отъединился» [там же, 199]. Иначе говоря, Константинополь как столица породил бы кризис в отношениях между панправославной имперской идеей и геокультурной идентичностью русских и Россией, кризис, который бы разрушил православие и «всемирное» самосознание русских, отвратил бы их от их «призвания» и толкнул к самоизоляции от южных центров православия. Единственным возможным решением, по Достоевскому, может быть Константинополь – нейтральный город под исключительным покровительством России – метрополии православия, обретший статус ее окраинного владения. Такой ход прочно закрепил бы перефокусировку православия на север и вглубь материка, закрепив за Константинополем и южными православными землями, как и за славянскими областями, положение опекаемых окраинных зон цивилизации северного православия².

Берлинский конгресс и последовавшее за ним возрождение на новых началах «Союза трех императоров» совпали с двухлетним перерывом в издании «Дневника писателя». У Достоевского было время пережить крах надежд на русско-германское соглашение, которое бы позволило включить в «русское пространство» Константинополь, выход в Средиземное море и славянский (балто-балканский) порог Европы. Перед смертью поворот в геополитической мысли Достоевского становится очевиден; причем, поворот не прямо геостратегический, как у Данилевского («в Константинополь через Калькутту»), но более фундаментальный, охватывавший сам стиль геополитической имажинации. На то были и давние предпосылки. Еще в набросках от ноября 1875 г. (до начала своего «германского эпизода») Достоевский связывает судьбы южной линии Сибирской железной дороги с будущим Китая. Задолго до того, как тема «желтой опасности» заполонит русскую прессу, он предсказывает, что Китаю «достаточно только некоторого расширения кругозора и мысли или толчка от

¹ Цитируется «другая редакция» текста ДП за июнь (!) 1876 г. *Примеч. ред.*

² Собственно, лишь один раз Достоевский поколебался в этой установке – опять же, в пору своего наивысшего увлечения идеей германо-русской сделки, когда, увлеченный мыслью о якобы готовящейся перекройке Европы, он желал России «на некоторое время забыть хоть немножко Петербург и побывать на Востоке, ввиду изменения судеб ее и всей Европы, изменения близкого, стоящего “при дверях”» [Достоевский XXVI, 84].

реформ, несомненно имеющего последовать даже от самых первоначальных военных реформ (при которых не может не прийти сознание силы, сплоченности и единства), чтоб не догадаться, что кругом пустые и богатые земли, Сибирь не Средняя Азия, а их, китайцев, бесконечно много, чтоб не помыслить захватить эти земли. С первой военной идеей ... чтоб не догадаться, до какой степени эти земли слабы и незащищенны и даже в дальнейшем защищены быть не могут». Предрекая наступление модернизированного Китая на русский Восток «не сейчас, но, конечно, лет через 50», Достоевский делает на полях заметку «О Японии» [Достоевский XXIV, 83–84]. Тема опасности с Востока начинает переплетаться с размышлениями о восточных окраинах и границах в контексте обсуждения новых задач – задач эпохи российского пребывания вне Европы.

Другим стимулом интереса Достоевского к Азии стала его крутая полемика с заметкой либерала Л.А. Полонского в «Вестнике Европы» за 1876 г. В этой заметке автор предупреждал насчет вероятных волнений российских мусульман в случае войны с Турцией: «Беспокойство, обнаружившееся в некоторых местностях Кавказа, должно напомнить нам, что православный великорус живет в семье, что он не единственный, хотя и старший сын России». Эта заметка в западническом журнале вызвала у Достоевского яростный ответ насчет того, что политика России не может быть ориентирована на предпочтения инородческих групп. «Русская земля принадлежат русским, одним русским ... и ни клочка в ней нет татарской земли» [Достоевский XXIII, 127]. Однако, тогда же в набросках к «Дневнику» он записывает, что «пока существовала Казань, нельзя было предсказать, кому будет принадлежать европейская Россия: русским или татарам», а в самом «Дневнике» проскальзывают слова: «Я столько же русский, сколько и татарин» [Достоевский XXIV, 258. XXIII, 189]. Так намечается тема становления России из Азии, отступающей перед русскими и преобразуемой ими, России, крепнущей наступлением на Азию и господством над нею, при этом являющей новое качество по сравнению с азиатским строительным материалом.

В последнем подготовленном номере «Дневника писателя» Достоевский помещает статью, посвященную развернувшемуся под прикрытием «Союза трех императоров» наступлению России в Туркмении и занятию Геок-Тепе экспедицией Скобелева. Овладение Константинополем и проливами сдвигается в неопределенное будущее (не в то ли, где видится суд России над Европой?) Подготовкой же эсхатологического будущего должно стать низведение широты азиатских пространств и массы исламских народов под руку Белого Царя, распространение его власти на мусульманский мир, подготавливающее самих турок к занятию русскими Константинополя как неизбежному итогу этого шествия Империи в Азии. Вся эта статья – своего рода гео-идеологическое завещание Достоевского с ее декларациями о «мире-океане земли Русской, море необъятном и глубоком», о «понимании и смирении перед великой землей Русской, перед морем-океаном» (эта статья может рассматриваться как один из источников топики «континента-океана» у евразийца П.Н. Савицкого). С заметками 1876 г. ее объединяет один мотив – ожесточенное сопротивление тем энтропийным тенденциям, которые видятся Достоевскому в русском западничестве. Если в том году он спорил с призывами соотносить политику Империи с построениями и чувствами «инородцев», азиатского, неадаптированного человеческого материала, то в 1880–1881 гг. так же резко спорит с запугиваниями вроде «в Азию пойдем – сами азиатами сделаемся». В заметках того времени жестоки его нападки на западников-«редукционистов», чью логику он глумливо пародирует словами: «Окраины всё это вздор, всё это мелочи и с другого боку, всё мелочи, Россия до Урала, а дальше мы ничего и знать не хотим. Сибирь мы отдадим китайцам и американцам. Среднеазиатские владения подарим Англии. А там какую-нибудь киргизскую землю это просто забудем. Россия-де в



Европе, и мы европейцы и преследуем цели веселости. А более никогда и ничего, вот и всё» [Достоевский XXVII, 73]. Любое из этих решений – и в «России масса инородцев, а потому политика не может не учитывать их международных ориентаций и пестроты», и «в Азию пойдем, если азиатами сделаемся... Окраины – это вздор, всё это мелочи и с другого боку, всё мелочи» – бескомпромиссно отвергается Достоевским в пользу резко контр-энтропийного образа Империи Белого Царя, простирающейся по материку и охватывающей миллионы азиатов, придавая этим массам новую форму бытия. Становление России из Азии вопреки «азиатчине», в преодолении и переоформлении ее – в этом образе колониционно-цивилизаторский пафос вполне в духе наступившей колонизаторской интермедии европейского милитаризма слился с древней идеей Православного Царства, каковое, беря под свою руку массы неверных, подготавливает окончательное решение мировых судеб – в эсхатологической, четвертой фазе русской истории, по Достоевскому, куда после Берлинского конгресса сдвигается и решение константинопольской проблемы.

Осмысление Восточного вопроса в последней статье Достоевского и в его подготовительных заметках, несомненно, должно рассматриваться как одно из вершинных гео-идеологических самовыражений нашей первой евразийской эпохи.

VIII

Итак, каковы особенности геополитической мысли этого времени, когда Россия входит в свою первую евразийскую фазу, еще не предвидя ее подлинной продолжительности, а в 1870-х пытается вновь вернуться в Европу, но терпит поражение, чтобы вернуться к более глубокой проработке евразийской сюжетики?

Некоторые черты этой мысли прорезались уже на исходе Крымской войны, в «откатной» фазе D первого стратегического цикла. Таковы жесткая констатация П.А. Вяземского «Россия и Европа уже не одно, а два существа», два общества на отдельных пространствах, и его же мысль о том, что в новую эпоху Россия будет присутствовать в жизни Европы «своим отсутствием»; это тезис Погодина о необходимости для поворота России к Азии надежных буферов, которые бы прикрыли ее от Балтики до Дарданелл»; это замечания Вяземского и И.В. Вернадского о превращении «восточного вопроса» в «английский вопрос». Позднее А.Е. Снесарев, развивая эту мысль, заявит, что в этой фазе Англия фактически навязала России свое понимание Восточного вопроса; он становится вопросом англо-русского баланса сил и влияния вдоль евроазиатского приморья от Дарданелл до Китая, причем фокусом спора становится с английской подачи зона Центральной Азии, нависшая над Индией. Восточный вопрос, казалось бы, получал формулировку, при которой он перестал соприкасаться с вопросами европейского баланса, определяя кристаллизацию за пределами «коренной» Европы – новой евразийской конфликтной системы, потенциально осмысляемой как противостояние вне коренной Европы ее морского и континентального маргиналов.

Нельзя сказать, чтобы это видение в России стало общепринятым. Официально борьба все так же идет за черноморские проливы – настоящее «устье Днепра и Дона» (М.А. Терентьев). Угроза Индии мыслится огромным вспомогательным маневром, как, отчасти, и «сброс Аляски», но сама масштабность этого маневра ведет к тому, что тема Константинополя переосмыляется кардинально. С.В. Лурье отмечает очень точно: геополитическая игра России, обретя стратегическую виртуозность, утрачивает однозначную цель. Дело не только в том, что стремление к Константинополю в принципе перестает увязываться

с задачами реконструкции коренной Европы, с перестройкой ее по русскому проекту. Дискредитированной оказывается сама идея выноса российского центра на освобожденный от мусульманства порог Ближнего Востока, в преддверие Средиземноморья.

Лурье связывает это явление с «константинопольским комплексом» России, со страхом перед возрождением Второго Рима, обесмысливающим Третий Рим (вспомним нежелание Бисмарка интегрировать Вену – центр Первого Рейха – непосредственно в пространство Второго Рейха, собираемое вокруг Берлина). Лурье считает этот комплекс константой нашей Империи, полагая, что он проявлялся уже в политике Николая I. Однако, мы уже видели, гео-идеологии времен нашего первого европейского максимума этот комплекс чужд – идет ли речь о Тютчеве, Герцене или Погодине начала 1850-х: все эти авторы не страшатся шага, за которым им видится переход России, Европы и мира в целом в новое качество, исчерпывающее как эпоху европейского буржуазного модерна, так и существование Петербургской монархии. В новую эпоху «константинопольская опасность» становится предметом гео-идеологического дискурса, толкая к разработке сценариев, которые позволили бы встроить Царьград в российское или околороссийское пространство, не нарушая идентичности последнего, не порождая в нем цивилизационных и политических потрясений.

Данилевский оспаривал сакральность Константинополя и, стремясь избежать оттягивания этим городом сил России, не находит лучшего выхода, чем сделать его центром конструируемого Россией славянского Большого Пространства. Но поскольку, по логике его историософии, лояльность к этому пространству должна быть для самих русских выше лояльности к России, он в конце концов склоняется к тому, чтобы оставить Константинополь за турками, включив последних в российскую зону при разделе Евро-Азии. Тот же константинопольский страх сквозит и у Достоевского (связываясь с мотивом обращения Петербурга в город-призрак), и даже у позднего Погодина. Отстаивая панправославную трактовку Восточного вопроса, Достоевский приходит к заключению, что гармонично спаять русских, греков и славян в единое пространство могла бы лишь идея более мощная, чем православие в его исторической данности. В 1878 г. в записке Александру II Б.Н. Чичерин напишет о том, что «ни один здравомыслящий русский не думает о завоевании Турции и о присоединении себе Константинополя». Далее идут уже привычные аргументы насчет опасности ухода центра Империи на юг, утраты русскими своей мировой особенности и отодвигании их на второе место в Империи и т. д. с характерным заключением: «Если Россия должна оставаться Россией, она не может сойти со своего места и стать у Средиземного моря», – вызывающим у Александра II реплику «Совершенно справедливо» [Сказкин 1964, 418 сл.]. Как и Данилевский, Чичерин выступает против «преждевременного» изгнания турок с Балкан, влекущего за собою экспансию в этом регионе европейских великих держав, что опять же получит полное одобрение Александра II. Вопреки Данилевскому Милютин даже готов в 1880 г. нейтрализовать проливы общеевропейской опекой, чтобы тем самым прикрыть этот фланг евроазиатского англо-русского фронта (как на востоке тихоокеанский фланг укрепляла продажа Аляски). Второй Рим теряет свою эсхатологическую притягательность («близко есть, при дверях»).

Эпоха отмечена прощупыванием потенциальных евроазиатских пределов российского пространства, «русского дома», причем Царьград ощущается как участок этого пространства, где Россия уже определенно переходит в «не-Россию». В этом смысле другие направления меньше внушают тревогу, во всяком случае, авторы, испытывающие такую тревогу (перед «туранизацией» России), редко бывают способны ее строго аргументировать. Формулировка Р. Фадеева «Славянство или Туран» неубедительна ни для Данилевского, для

которого «Туран» относится к естественным владениям славянства в Евро-Азии, ни для Достоевского, который настороженно трактует мусульманские народы Империи как маргиналов Европы и потенциальных недругов России, одновременно рисуя величественную картину покорения и преобразования православной Россией (на пути к Константинополю и к финальному суду над Европой) всей покоряющейся Белому Царю тюрко-мусульманской Азии. И в этом смысле очень интересен развернувшийся в первой половине 1880-х на страницах славянофильской «Руси» спор между Е.А. Марковым и И.С. Аксаковым по поводу взятия Мерва. Марков панически уверяет, что с момента русского выхода в XVI в. за Урал (Камень) «шаг за шагом, незаметно, каким-то роковым, будто невольным образом, оттянуло нас от себя самих, от Европы и европейского и утопило сперва по колени, потом по горло и теперь уже выше макушки ... в азиатчине, в дичи всякого рода. Да поможет же нам наш русский Бог избавиться с этой поры от всяких подобных приобретений!.. Пора, наконец, знать, где кончаются стены нашего дома и где начинается чужбина!» Ответ Аксакова сводится к тому, что на деле границы русского дома еще вовсе не определены, Россия «все еще не сложилась, все еще пребывает в периоде формации – формации даже внешней географической». Волга, которую Марков полагает «исконно русской» рекой – изначально река татарская, азиатская. «Русская» Волга с ее русской торговлей немыслимы без серьезного российского контроля над Каспием и его азиатскими берегами. Точно так же Черное море есть продолжение русских рек, и его безопасность невозможна без замирения Кавказа. Контроль же над Кавказом и Каспием требует соглашения с Персией, если не сюзеренитета над нею. Как и для Достоевского, для И. Аксакова, Россия строится на землях, отвоевываемых, изымаемых у Азии, обретающих новый образ по мере того, как русским приходится «догонять лютую азиатчину до самых ее источников и тем ослабить, обезвредить ее навеки». Но точно так же и прямых контактов с Европой Россия не могла добиться иначе, как встав в непосредственные отношения к более просвещенному Западу помимо его ретивых аванпостов, то есть сокрушая буфера по его окраинам (польские, шведские, восточно-германские и иные). Черноморские проливы, юг Каспия, горная гряда по югу Средней Азии становятся, как и в модели Данилевского, единственно надежными пределами русского дома, на западе такой предел обозначает Галиция, позволяющая прочно опереться на Карпаты. Земли для «русского дома» должны быть отвоеваны у Азии и у окраинной Европы, надежна лишь та Россия, которая прочно обоснует себя и укрепит за счет не-России и недо-России.

Аксакова при всей яркости его пера оригинальным мыслителем считать трудно; скорее, он ярко озвучивает ряд тем, возникающих у авторов этого времени. Эта тема азиатской границы России, намеченная Венюковым, фактически ставящим русских перед выбором: либо держаться границы «ядровой» России по рубежам леса и степи, либо опереться на прочную южную гряду гор с охватом русской границей массы тюрков-среднеазиатов; либо ограничиться бассейнами рек, текущих к Ледовитому океану и омывающих русские леса, либо полностью охватить бассейны закрытых центрально-азиатских водоемов, приходящихся на степи и пустыни. Любое промежуточное, половинчатое решение может быть временным, давая подвижную полуоткрытую границу типа фронта. Работы Венюкова продемонстрировали крупнейший парадокс России, отличающий ее от европейских государств, где прочные территориальные разграничения тяготели к рубежам, разделяющим европейские нации. С эпохи выдвижения России в степи стремление утвердить на неевропейских направлениях твердые границы европейского типа, придать России на юге облик территориального государства неизбежно вело к перенасыщению ее инородческими элементами, к имперской полиэтничности. Если считать чертой национального

государства прочную очерченность границ, а атрибутами империи одновременно полиэтничность и мирообъемлющую «открытость», потенциальную готовность к охвату ойкумены, то применительно к России эти типологические приметы входили в явное противоречие между собою; она могла утвердиться как прочная территориальная держава, только дойдя до рубежей, при которых охваченная ею масса народов исключила бы возможность осмыслить Россию в качестве национального государства (но тогда не могло быть никакой гарантии, что эти рубежи станут окончательными; возникала опасность распада России в поликультурных и полицивилизационных протяженностях континента). Или стоило бы в конце концов вспомнить слова Венюкова о том, что <обрыв: небольшой фрагмент рукописи утрачен. *Примеч. ред.*> более органичной границы, чем на начало XVIII в., границы, идущей за районом евроазиатских сибирских лесов, Россия никогда не имела. Венюков очертил, с одной стороны, границу «России-Евразии», вобравшей в себя все земли, лежащие за пределами арабо-иранского Среднего Востока – географической цитадели мусульманской цивилизации. С другой стороны, контрэвразийскую границу «ядровой России», границу, имеющую характер фронта, мотивированного экологически и гидрологически окаймляющего ядро российской цивилизации – и тем самым отличающегося по сути от произвольных, конъюнктурных фронтов, которые, прочерчиваясь в XVIII – первой половине XIX в. в степях и пустынях Средней Азии, приближались к типу зыбких размежеваний между кочевническими империями (в ряде моих работ я трактую эти две границы, выделенные Венюковым, как границу России, вобравшей в себя междивилизационную Евразию, и, соответственно, границу противопоставленного этой Евразии коренного «острова России», притом, что сам доимперский «остров Россия» XVI–XVII вв. трактуется в соответствии с моделями Достоевского и Аксакова как восставший из окраинных, тюрко-монгольских, азиатских пространств, взорвавший их и поставивший на них новую цивилизацию).

Ясно, что в таких условиях именно с конца 1850-х по 1870-е гг. закладываются основы евразийского видения русской истории, причем в этом отношении не приходится недооценивать значение отечественной реакции на построения Ф. Духинского в духе «борьбы цивилизаций». В частности, Погодин в этом споре предельно внятно сформулировал вывод Духинского о том, что «великороссы, или москвитяне, есть вновь образовавшееся племя из смеси разных уральских племен – финнов, татар, турок, под влиянием немногих русских колонистов, уже после нашествия татар» [Погодин 1876, 415]. Педалируемая Духинским идея автономного пространства специфической «московитской» цивилизации, противостоящей цивилизации европейской (включающей и славянскую окраину), отвечала духу нашей евразийской интермедии. Двинско-днепровский барьер этой «московитской» цивилизации, по Духинскому, был принят и Горчаковым, и Р. Фадеевым за границу «ядровой России» (от сих и до Тихого океана). Причем, если Герцен принял эту делимитацию безоговорочно, вместе с оценкой русских как «плохих славян», которых именно тюрко-финская примесь спасает от европейского «загнивания», то Фадеев в страхе перед «туранизацией» России сделал в судьбах ее упор на балто-черноморскую полосу между ядровой Россией и ядровым Западом, объявив о судьбоносности для России этого цивилизационного «междумирья» (на деле функционально аналогичного «интервалу Венюкова» между зоной северных евроазиатских лесов – исконной нишей России – и окаймленным горными хребтами иранским Средним Востоком). Впрочем, либералы 1870–1880-х гг. колеблются между страхом перед «погрязанием в Азию» и призывами учитывать в политике настроение российских мусульман как «меньших братьев» в имперской семье. Достоевский, с отчужденной настроенностью относясь к славянам, поставил решение «константинопольского



вопроса» в связь с православным господством над тюрко-исламским миром вообще, а П.А. Вяземский еще в 1850-х додумался до «восточного» цивилизационного сродства славян (включая русских) и турок.

Так выстраиваются в эти десятилетия образы России с различием глубинного ядра (на западе очерченного Герценом и Фадеевым, на юге – Венюковым) через различные расширения и укрепления «русского дома» вплоть до различных версий «российской доктрины Монро», исключаяющей романо-германский Запад, от которого эта доктрина требовала «не лезть в сферу нашей деятельности и оставить нас в покое» (И. Аксаков), вплоть до российского покровительства, по Данилевскому, всей континентальной Азии против Западного натиска с допуском отвлекающих дестабилизирующих ударов по Британской Индии, каковую, кажется, ни один их идеологов этой поры не включал в пределы русского мира даже в крайне расширенном его понимании. Очевидно, во всех этих смыслах потенциальное «пространство России» конструируется как обособление от «пространства Запада», противопоставленное ему и каким-то образом его уравнивающее, хотя физико-географические основания такого разделения прочерчиваются достаточно условно. Именно упор на геокультурном контрасте миров делает возможным, как у Достоевского, недоверие к славянам (даже к украинцам), трактуемым, прежде всего, в качестве «параевропейцев», и увлечение Азией как миром, который Россия должна переустроить, на его покорении и преобразении основав конечную свою судьбу: так resultируют драматичнейшие колебания Достоевского между пафосом подавления и уничтожения Азии («ни метра земли татарской», «халаты и мыло») и пафосом сродства с ней («я столько же русский, сколько и татарин») – resultируют мотивом перерождения Азии в русское «всечеловечество», тогда как отличием русских от славян, которые долго еще будут не способны понять смысл Восточного вопроса, намечается на западе различие между цивилизационным ядром и интервалами-лимитрофами.

Если горчаковская политика пытается следовать старому принципу российской заинтересованности в европейском балансе, то в трудах прото-евразийских гео-идеологов этот принцип претерпевает решительный пересмотр. Данилевский связывает строительство «славянского пространства» в континентальной Евро-Азии как Анти-Европы, противовеса Европе в рамках бинарной системы цивилизаций. При этом он формулирует причины заинтересованности России в поддержании Запада в состоянии неустойчивого контролируемого дисбаланса – и вместе с тем отмечает неизбежную зависимость устойчивости славянского пространства от политики прифронтовых государств, соседствующих по российскую сторону с ядровой Европой. Достоевский идет еще дальше, допуская прямую кооперацию России с восходящим Вторым Рейхом, вплоть до русского согласия на полную политическую германизацию Европы при условии уступки русским контроля над «Востоком» (причем, славянство оказывается независимым буфером). В конце концов он доходит до идеи возрожденного союза России с восходящим германским центром Европы против западного центра, присоединяющего к себе Англию: вариант, в общем, несколько раз намечавшийся в 1870-х и 1880-х, но сорвавшийся отчасти из-за горчаковского страха перед германской гегемонией, главным же образом, из-за резкого расхождения трактовки положения Балкан и Восточной Европы в рамках российской и германской картин мира. Лучше всего оценил это расхождение Р. Фадеев, предсказав устремление германского блока к Черному морю и его ставку на полную «туранизацию» России (впрочем, и Достоевский в черновиках допускал такое развитие). Таким образом, Восточный вопрос становится вопросом преимущественно «берлинским» или «английским» в зависимости от того, рассматривается ли он по преимуществу в

рамках балто-германского (resp. балто-балканского) пространства или в рамках евро-азиатского англо-русского противостояния, – собственно, в зависимости от того, рассматривается ли Юго-Восточная и Центрально-Восточная Европа как часть русского пространства.

Наиболее всесторонние итоги первого периода нашей первой евразийской фазы попытался подвести Венюков в его эмигрантском памфлете «Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора». Он констатировал 1) резкое умаление русского влияния в Европе («стоит ныне ниже, чем пятьдесят лет назад»); 2) содействуя выращиванию единой Германии, Россия, оказывается, охвачена германским давлением на Западе и английским на Востоке (Тихий океан); 3) германское сообщество все полнее берет под контроль и Черноморские проливы, и Балтику; 4) Россия достигает на азиатском материке своих вероятных окончательных пределов, получая возможность устроить на совершенно дружеских началах свои отношения ко всем азиатским силам, кроме Турции и Англии; 5) однако, по Венюкову, у России якобы все еще нет настоящей азиатской политики из-за «неведения правительством его азиатских интересов и ... предпочтения им европейских, часто притом ложно разумеемых»; 6) один из таких ляпсусов – попытки ублагоустроить Англию: между тем, «войну с Англией можно отсрочить, но избежать ее нельзя, и обязанностью русского правительства отныне становится готовить ... ее успех» заключением прочных союзов с естественными врагами Великобритании (Соединенные Штаты, передачу коим Аляски Венюков одобряет), изучением ее положения в Индии и в колониях, созданием сильного наступательного флота и т.д. [Венюков 1878а, 382–387]. Итак, предлагается сосредоточение на евроазиатской борьбе с Англией при уступке балто-черноморского преобладания германскому блоку, несмотря на всю угрозу с его стороны.

Поразительно заключение Венюкова о том, что Россия после Крымской войны не может считаться мировой державой, поскольку ее деятельность не сказалась в Африке, Австралии и большей части Америки. Как если бы в пору нашего европейского максимума Россия оказывала влияние на эти части света (за исключением стратегически совершенно непонятной и неиспользованной Русской Америки). По сути, именно после Крымской войны роль России впервые начинает поверяться ее отношением к материковой и приморской Азии, что и побуждает ее гео-идеологов всерьез задуматься о внешнем поясе территорий, колонизируемых европейцами, в особенности Англией (это уже подступ к моделям окруженного водами Срединного Мира или Мирового Острова, по Ламанскому и Маккинтеру, переходящим в парадигмальную геополитику XX в.). Тем самым конституируется мировая роль России вне Европы, не только определяющая российское присутствие в Европе через отсутствие в ней (по Вяземскому), но и привлекающая к России интерес представителей неевропейских цивилизационных сообществ.

Если наш европейский максимум отзывался на Западе то пугающими, то соблазнительными видениями российско-европейской универсальной монархии, то теперь английские авторы, намного опережая и как бы провоцируя русских, муссируют идею российского вторжения в Индию. Одновременно отец пантюркизма Исмаил-бей Гаспринский намечает контуры проекта, который он позднее назовет «русско-мусульманским соглашением». По Гаспринскому, «разрозненные ветви тюрко-татарского племени, в свое время единого и могущественного, постепенно переходят под власть России и делаются ее нераздельной составной частью. ... Рано или поздно границы Руси заключат в себе все тюрко-татарские племена и в силу вещей ... должны дойти туда, где кончается населенность тюрко-татар в Азии» [Гаспринский 1993, 17]. В свое время татарское господство «охранило Русь от более сильных чужеземных влияний



и своеобразным характером своим способствовало выработке идеи единства Руси» [там же, 25]. При этом, отмечает Гаспринский, русские как государственные строители минимально способны к ассимиляторству, скорее, они ассимилируются сами, «поддаваясь влиянию окружающих инородцев, перенимая их язык, без оставления, конечно, своего, также как и некоторые обычаи, поверья и одежду» [там же, 38]. «России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что, я думаю, нисколько не умалит ее значения как великой христианской державы. ... Рано или поздно русское мусульманство, воспитанное Россией, станет во главе умственного развития и цивилизации остального мусульманства» [там же, 18; 45]. Наша евразийская фаза обрачивается в воображении российского пантюриста идеей России – «великой мусульманской державы», общей отчизны тюрков, когда-то у них почерпнувшей свою государственную идею и поднимающей их до роли авангарда мирового мусульманства.

Со стороны русских попытки религиозно осмыслить такое строительство, как у Достоевского, намечаются с определенным запозданием. Лурье склоняется к мысли о том, что в эту пору «константинопольский комплекс», вырывающийся на поверхность гео-идеологии, и все более усваиваемые «английские видения» Восточного вопроса в принципе дискредитируют принцип нашей Империи как универсального православного государства, стремящегося к умножению и политическому самоутверждению православного народа, к освобождению древних православных областей и внедрению православия в области, ранее им не охваченные. По Лурье, эта программа терпит крушение из-за попыток приспособить ее к строительству российского государства. Константинополь внушает страх превращением России в периферию воскресшего Второго Рима; в старых христианских областях (Грузии, Армении) к власти приходят национальные элиты, энергично противящиеся их русификации. Принцип утверждения русского центра берет, по Лурье, верх над служением православной идее, универсализм Империи подрывается отстаиванием самоидентичности (постоянное напряжение между «русскостью» и «всемирностью» у Достоевского, ведущее к отождествлению «всемирности» с «русскостью» в потенции, с предвидением Пан-Идеи, которая смогла бы сплотить православный мир, став «больше» православия, и определила бы российский «суд» над Европой). Еще курьезнее, что, распространяя свою власть на казахские степи и Среднюю Азию, Россия фактически отказывается от насаждения здесь православия, все более сохраняя за ним статус узко-национальной религии, применительно же к владениям подменяя его, с одной стороны, расплывчатым принципом «христианской цивилизации» (отождествляемой западниками с расплывчатым «европеизмом для Азии»), а с другой стороны, попечительством о традиционных религиях всех подданных Империи. Как отмечает Лурье, такая стратегия объективно ведет к исламизации народов, до тех пор не охваченных влиянием этой религии, широкому использованию ислама как средства дистанцирования от России наряду с подчеркиваемым в «России и Европе» Данилевского пафосом вхождения в Европу помимо России и в обход ее. Страх туранизации, которому контревразийская реакция, собственно, не могла ничего противопоставить, кроме попыток, «преследуя цели веселости», вернуться в «Европу до Урала» (Е. Марков) или попытаться переопределить российскую идентичность через упор на славянские пространства между Германией и Днепро-Двинским барьером, сродство которых с Россией выглядит все более сомнительным. Позднее евразийцы, принимая за идеал России империю в тех границах, <Здесь текст обрывается, вариант: прямо сделают ставку на «туранизацию» России как неизбежное следствие выхода Империи за пределы своей ниши и одновременно ее отрыва от славянских пространств на Западе. Примеч. ред. >.

Литература

- Бисмарк II – *Бисмарк О.* Мысли и воспоминания. Т. 2. М., 1940.
- Венюков 1873 – *Венюков М.И.* Опыт военного обозрения русских границ в Азии. [Вып. 1]. СПб., 1873.
- Венюков 1875 – *Венюков М.И.* Краткий очерк английских владений в Азии. СПб., 1875.
- Венюков 1877 – *Венюков М.И.* Поступательное движение России в Средней Азии. СПб., 1877.
- Венюков 1878 – *Венюков М.И.* Очерк политической этнографии стран, лежащих между Россией и Индией. СПб., 1878.
- Венюков 1878а – *Венюков М.И.* Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора: 1855–1878. Т. 1. Лейпциг, 1878.
- Вернадский Г. 1914 – *Вернадский Г.В.* Против солнца: Распространение русского государства к востоку // Русская мысль. 1914. Кн. 1.
- Гаспринский 1993 – *Гаспринский И.* Россия и Восток. Казань, 1993.
- Герцен XIII – *Герцен А.И.* Собрание сочинений в 30 т. Т. 13. М., 1958.
- Герцен XIV – *Герцен А.И.* Собрание сочинений в 30 т. Т. 14. М., 1958.
- Гильфердинг 1868 – *Гильфердинг А.Ф.* Собрание сочинений. Т. II. СПб., 1868.
- Григорьев 1867 – *Григорьев В.В.* Кабулистан и Кафиристан // *Риттер К.* Землеведение Азии: География стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россией. Кабулистан и Кафиристан. СПб., 1867.
- Данилевский 1890 – *Данилевский Н.Я.* Сборник политических и экономических статей. СПб., 1890.
- Данилевский 1991 – *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М., 1991.
- Долинский 1865 – *Долинский В.Л.* Об отношениях России к Средне-Азиатским владениям и об устройстве киргизской степи. СПб., 1865.
- Достоевский XI – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 11. Л., 1974.
- Достоевский XXII – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 22. Л., 1981.
- Достоевский XXIII – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 23. Л., 1981.
- Достоевский XXIV – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 24. Л., 1982.
- Достоевский XXV – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 25. Л., 1983.
- Достоевский XXVI – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 26. Л., 1984.
- Достоевский XXVII – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 27. Л., 1984.
- Замятин 1998 – *Замятин Д.Н.* Моделирование геополитических ситуаций. (На примере Центральной Азии во второй половине XIX века) // Полис. 1998. №№ 2 и 3.
- ИВПР 1997а – История внешней политики России: Вторая половина XIX века. (От Парижского мира 1856 г. до русско-французского союза). М., 1997.
- ИД II – История дипломатии. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1963.
- Маркс XXXII – *Маркс К., Энгельс Ф.* Полное собрание сочинений в 50 томах. Т. 32. М., 1964.
- Мартенс 1880 – *Мартенс Ф.Ф.* Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1880.
- Мельгунов 1974 – *Мельгунов Н.А.* Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России // Голоса из России: Сборники А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Выпуск первый (книжки I–III). Факсимильное издание. Кн. I. М., 1974.

- Мельгунов 1976 – *Мельгунов Н.А.* Россия в войне и в мире // *Голоса из России: Сборники А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Выпуск второй (книжки IV–VI). Факсимильное издание. Кн. IV. М., 1976.*
- Милютин III – *Милютин Д.А.* Дневник: 1878–1880. Т. 3. М., 1950.
- Нессельроде 1872 – *Нессельроде К.В.* О политических соотношениях России // *Русский архив. 1872. № 2. Стлб. 337–344.*
- Погодин 1874 – *Погодин М.П.* Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны: 1853–1856. М., 1874.
- Погодин 1876 – *Погодин М.П.* Статьи политические и польский вопрос (1856–1867). М., 1876.
- Потанин 1907 – *Потанин Г.Н.* Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907.
- Потанин 1987 – *Потанин Г.Н.* Письма ... Т. 1. Иркутск, 1987.
- Сборник 1881 – Сборник, изданный в память двадцатипятилетия управления министерством иностранных дел государственного канцлера светлейшего князя А.М. Горчакова: 1856–1881. СПб., 1881.
- Сибирь 1893 – Сибирь и Великая Сибирская железная дорога. СПб., 1893.
- Сказкин 1964 – *Сказкин С.Д.* Дипломатия А.М. Горчакова в последние годы его канцлерства // *Международные отношения. Политика. Дипломатия. XVI–XX века: Сборник статей к 80-летию академика И.М. Майского. М., 1964.*
- Скобелев 1882 – Посмертные бумаги М.Д. Скобелева: I. Письма с кашгарской границы (1876) [Письмо к К.П. фон-Кауфману от 9 августа 1876 г.] // *Исторический вестник. 1882. № 10.*
- Скобелев 1883 – Проект М.Д. Скобелева о походе в Индию [Письмо кн. Черкасскому от 27 января 1877 г. из Коканда] // *Исторический вестник. 1883. № 12.*
- Снесарев 1906 – *Снесарев А.Е.* Индия как главный фактор в средне-азиатском вопросе: Взгляд туземцев Индии на англичан и их управление. СПб., 1906.
- Терентьев 1875 – *Терентьев М.А.* Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875.
- Терентьев 1876 – *Терентьев М.А.* Россия и Англия в борьбе за рынки. СПб., 1876.
- Терентьев 1906 – *Терентьев М.А.* История завоевания Средней Азии. Т. 2. СПб., 1906.
- Тэйлор 1958 – *Тэйлор А.Дж.П.* Борьба за господство в Европе: 1848–1918. М., 1958.
- Фадеев 1889–1890 – *Фадеев Р.А.* Собрание сочинений в 3 т. Т. 2. Ч. 2: Наш военный вопрос. Восточный вопрос. СПб., 1889–1890.
- Чичерин 1906 – *Чичерин Б.Н.* Восточный вопрос с русской точки зрения // *Трубецкой С.П.* Записки. СПб., 1906. Приложение.
- Prêt 1892 – Prêt C.A.* La lutte des civilisations et l'accord des peuples d'après les travaux ethnographiques de F.-H. Duchinski (de Kief) ... Paris, 1892.

Аннотация. Диссертацию под названием «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XIX вв.» на соискание степени доктора философских наук Вадим Цымбурский писал примерно в 1997–2003 гг. Ученому не удалось завершить свой труд, но его фрагменты сохранились в рукописи. В пятой главе диссертации «Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура» ученый провел анализ геополитической мысли той периодически повторяющейся эпохи имперской политики России, которая характеризуется временным откатом после натиска на Европу и сосредоточением внимания на восточных рубежах России. В главе подробно рассказывается о геополитических воззрениях таких знаменитых авторов этого времени, как Федор Достоевский, Николай Данилевский, Александр Герцен, Ростислав Фадеев и др.

Ключевые слова: евразийская интермедия, Балто-Черноморье, европейская bipolarность, балканский вопрос.

Vadim Tsymbursky (1957 – 2009)

Morphology of Russian Geopolitics. An excerpt from the book. Chapter Five. First Eurasian Epoch of Russia: from Sebastopol to Port-Arthur

Abstract. Vadim Tsymbursky made his PhD thesis «The Morphology of Russian Geopolitics and the Dynamic of International Systems of XVIII–XX centuries» in about 1997–2003. He could not complete his work but he left some fragments of it in manuscript. In the fifth chapter of thesis entitled «The first Eurasian interlude: from Sebastopol to Port-Arthur» the scholar made the analysis of the geopolitical thought of this period of time which was periodically repeated in the Russian history. This period is characterized by temporary backwash after the Russian onslaught on Europe and concentration on the eastern borders of Empire. The chapter describes in detail geopolitical views of prominent authors such as Fyodor Dostoevsky, Nikolai Danilevsky, Alexander Herzen, Rostislav Fadeev etc.

Keywords: Eurasian interlude, Baltic-Black Sea region, European bipolarity, Balkan question.

